



ЛЕВ МЕЧНИКОВ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
И
великие
исторические
реки

СТАТЬИ

ШКОЛА БОРЬБЫ В СОЦИОЛОГИИ

Пусть хищные звери и птицы грызутся
между собою, но мы — у нас есть справед-
ливость.

Гесиод

I

С тех пор как люди существуют на свете, им, без сомнения, приходилось замечать каждый день, что все тяжелые предметы, будучи лишены опоры, падают неизменно вниз, по направлению к центру земного шара. Тем не менее понадобились долгие века очень высокого культурного развития на то, чтобы проникательнейшие умы успели наконец усмотреть в этом всеместном и вседневном явлении действие закона всемирного тяготения, к которому одному с каждым новым успехом наблюдения и мышления сводятся все более и более все многообразнейшие изменения, замечаемые нами в неорганической природе. Окрыленный этою первою решительно своею победою, ум человеческий управляется уже, сравнительно говоря, очень быстро со всякими метафизическими призраками (теплорода, светорода и пр.), населявшими учебники физики не дальше как «в дни нашей юности, в дни безвозвратно минувшего детства».

Мир органический отличается от так называемой бездушной природы очень многим, но прежде всего такую чрезвычайную сложностью и таким разнообразием своих явлений, что всякая попытка подчинить в свою очередь и его действию какого-нибудь одного, естественного и удобопонятного закона долго должна была казаться самым смелым мыслителям непростительною дерзостью или по крайней мере несбыточною мечтою. Материалистическая метафизика пыталась, правда, в разные времена перекинуть мост через пропасти, отделявшие живую жизнь от бездушного бытия камней и минералов, но мосты эти, должно признаться, оказывались так же непроходимыми для реалистического понимания, как и самые дремучие дебри крайнего спириту-

ализма. В самом начале нынешнего столетия некоторые поэтические умы — Ламарк, Жоффруа Сент-Илер, Гёте — осмелились было в скромной, гипотетической форме изложить мысль, что все изумительное разнообразие органических форм может быть вполне научно объяснено действием *эволюции*, т.е. ряда последовательных и преемственных перемен, вызываемых в организмах совершенно естественным путем, различных его соотношений с тою внешнею средою, в которой ему приходится зарождаться, развиваться и проходить свое житейское поприще. Но тогдашний запас точных биологических знаний решительно не позволял им изложить свое учение с тою же научною доказательностью, перед которою одною здоровый скептицизм неподкупленных предвзятою мыслью умов только и может сложить свое оружие. А потому солидарная наука того времени в лице знаменитого Кювье строго осудила эти поэтические стремления. Не более благосклонно отнесся к ним и основатель французской «положительной» философии Огюст Конт, которого нельзя, однако же, обвинить в робости мысли. Он без обиняков объявил, что вопрос о происхождении видов (т.е. о возникновении органических форм) должен быть исключен навсегда из области познаваемого.

В начале 60-х годов, с выходом в свет хорошо всем известных трудов Дарвина, Уоллеса, а затем Э.Геккеля (главнейшим образом его «Общей морфологии» и «Истории мироздания»), представления эти облеклись наконец в ту научную форму, которая одна способна придать всякому философскому воззрению неоспоримые права гражданственности в мире реалистического мышления. Можно без малейшего преувеличения утверждать, что «Происхождение видов» Ч.Дарвина было знаменательнейшим философским событием нашего времени. О громадном значении дарвинизма с точки зрения специальных успехов естествознания, а также с более общей точки зрения развития философского реализма по всем направлениям было говорено уже очень много, и мы не чувствуем ни малейшего желания распространяться об этом предмете, т.е. повторять по этому поводу хорошо всем известные общие места. Заметим вкратце, что с Дарвином наше знание органической природы делает гигантский шаг вперед, совершенно соответственный тому, который был сделан в области неорганиче-

ских наук с открытием закона всемирного тяготения. Вместо пестрящего в глазах, неуловимого даже и для самого пылкого воображения многообразия природных явлений, не имеющих никакой доступной нашему пониманию объединяющей связи между собою, мы видим один всеобъемлющий процесс мировой жизни, составляющий как бы одну непрерывную гигантскую цепь, которой все звенья тесно и неразрывно связаны между собою. Для удобства наблюдения и понимания мы делим эту цепь на две обширные части: область неорганическую, которой все отдельные звенья представляются нам как бы спаянными одним общим началом всемирного тяготения, и область биологическую, явления которой вследствие своей значительно большей сложности и изменчивости не могут уже быть объясняемы одним только этим руководящим началом, а требуют чего-то дополняющего, нового. Благодаря Дарвину мы уже знаем, что этим необходимым дополняющим началом является *закон борьбы*.

Влияние дарвинизма на научное и философское развитие новейшего времени очень обширно и разносторонне. Признание основной мысли его учения заставило нас одновременно изменить более или менее существенно очень многие из представлений и воззрений, обращавшихся во всеобщем умственном обиходе с очень давних пор, а также пустило в наш умственный обиход немало и совершенно новых понятий, соответственно которым наш научный или даже публицистический язык обогатился некоторыми новыми словами и выражениями. В употреблении этих новых выражений и слов мы не всегда даем себе труд тщательно уяснить себе самим их точный смысл и значение. А это неизбежно ведет к некоторым недоразумениям и неясностям.

В настоящем очерке мы имеем в виду подвести по мере сил итоги тому, что дает нам дарвинизм в деле изучения и понимания явлений общественности. Задача эта, обширная и очень нелегкая сама по себе, должна неизбежно затрудниться очень существенно, пожалуй, даже стать и вовсе неразрешимой вследствие таких, хотя бы только и чисто диалектических, недоразумений. Не следует забывать, что сам Дарвин, точно так же как и все его солиднейшие дополнители, пояснители и сотрудники, развивал главнейшим образом свое учение в

его применениях к области исключительно биологической, обращаясь к явлениям социологическим только вскользь и по пути, останавливаясь в этих социологических явлениях со всею обстоятельностью только там, где те или другие из условий социологического порядка выступали в роли чисто биологических факторов или же где, наоборот, условия чисто биологические оказывали очень характерные влияния на формы и отправления жизни общественной. С другой стороны, не должно также упускать из виду, что в области чисто биологической дарвинизму приходилось занимать следующую ему по праву позицию, так сказать, с бою, путем устранения таких предвзятых мыслей и предрассудков, как, например, неизменяемость органических форм или неподдомственность антропологической области вообще, а еще более психической деятельности людей, общим законам природы. Таким образом, создавалась, может быть, даже и искусственная, но легко понятная необходимость сосредоточивать главнейшим образом свое внимание на ближайшей стороне дела, упуская хотя бы и вовсе из виду все то, что не имело непосредственного биологического значения. В результате получилось, что далеко не все последователи дарвинизма, задумавшие применять и к социологическому поприщу установленные им начала, придают дарвинистским формулам везде и всегда тождественное значение.

Ограничимся очень немногими примерами. В Германии лет восемь уже существует очень почтенный и довольно популярный журнал «Космос», имеющий свою программу пропаганду и дальнейшее развитие дарвинизма на всевозможных поприщах, в том числе, конечно, и на поприщах психологическом и социологическом. По мнению редакции этого журнала, «дарвинистским» следует считать всякое исследование, освещенное тем, что немцы называют *monistische Weltanschauung* (монистическое, или объединительное, миросозерцание). Воззрение это характеризуется исключительно тем, что оно рассматривает все явления природы как различные ступени развития одного всеобъемлющего мирового процесса, допускающего неисчислимы града-ции и степени осложнения, но существенно тождественного на всех своих ступенях. В простейших и неизменнейших своих проявлениях процесс этот исчерпывается

сполна для наблюдателя теми физическими и химическими изменениями, которые он вызывает в подлежащих нашему изучению предметах или телах. Но очень скоро он начинает осложняться новым элементом — *формой*, сперва прямолинейною и не обнаруживающую способности к последовательным видоизменениям, т.е. к развитию: таковы кристаллы, в которые при известных условиях отливаются неорганические соединения и простые тела. Э.Геккель в «Общей морфологии» обращает внимание на то, что чистый углерод отличается уже очень существенно от других неорганических тел тем, что его кристаллы, т.е. алмазы, ограничиваются не прямолинейными поверхностями, составляющими общее правило в неорганической морфологии, а поверхностями сферическими. В связи с этой особенностью углерода находится, конечно, и его способность образовывать те сложные (трех- и четырехчленные) соединения, которые характеризуются не столько своею неустойчивостью, сколько своею невиданною в неорганическом мире способностью принимать своеобразное, твердое, клейкое или студенистое агрегатное состояние, играющее столь важную роль во всех органических процессах. Индивидуализируясь в этом своеобразном агрегатном состоянии, углеродистые соединения принимают уже не геометрические, прямолинейные формы кристалла, а порождают клеточки, способные входить с окружающей средою в такие разносторонние и многосложные отношения, которых и слабого подобия мы не встречаем на предшествующих ступенях.

Уже на ступени клеточки органическая материя обнаруживает способность питаться, всасывая в себя подходящие ей элементы из внешней среды, увеличиваться в объеме через это питание и, наконец, распадаться на части, совершенно подобные первоначальному, порождающему их организму. Каждая из порожденных таким образом новых клеточек может продолжать на свой собственный страх свое одиночное существование, достигая при этом таких анатомических и физиологических усложнений, которые (в инфузориях) приводили в изумление Клапареда и Лахмана. Но клеточки эти могут также и оставаться приросшими к клеточке-матери, образуя таким образом собирательные организмы, с появлением которых, собственно говоря, и начинается

изумительная в своем разнообразии *эволюция* органических форм. Необходимость питания, царствующая деспотически во всем органическом мире, обуславливает *борьбу за существование*, в свою очередь обуславливающую изменения организма, соответствующие разнообразным условиям среды; причем организмы, наилучше приспособляющиеся, естественно, процветают и распространяются в ущерб организмам менее гибким и менее стойким в жизненной борьбе. Необходимость размножения с исчезновением гермафродитизма и с появлением полового сокоупления вызывает *борьбу за обладание самкою*, ведущую к *естественному подбору родичей*. Пользуясь этим фактором, мы можем очень существенно влиять на эволюцию растительных и животных организмов, создавая и размножая такие формы, которые не могли бы возникнуть при нормальных условиях борьбы и при естественном подборе родичей.

При таком воззрении на дарвинизм, очевидно, содержание его не исчерпывается словами *эволюция*, *борьба за существование* и *естественный подбор*, хотя и естественный подбор, и борьба, и эволюция являются очень важными факторами этого учения. Возможны исследования в духе самого строгого и плодотворного дарвинизма, в которых тем не менее не будет и речи об эволюции, потому что в природе существуют обширнейшие разряды явлений, вовсе не представляющие той преемственной изменяемости форм, которую ради краткости мы называем эволюцией. Минералы вступают в химические соединения, которые разлагаются и могут сменяться новыми сочетаниями тех же элементов, но эти изменения не могут составлять эволюцию, так как они наступают не в определенной последовательности, не сменяют одно другое тою роковою и вместе с тем логическою, так сказать, чередою, которая характеризует, например, нормальный рост высшей животной особи, переходящей от зародышного состояния к детству, отрочеству, возмужанию, старости и смерти всегда в одном, неизменном порядке. Можно бы было утверждать, что для эволюции нет места в неорганической природе вообще, если бы только не то, что мировые тела — Солнце, Земля, Луна, планеты — имеют в действительности свою историю развития, к сожалению разработанную еще только очень гипотетически до сих пор труда-

ми Канта, Лапласа, Герберта Спенсера и некоторых новейших космологов. Мы не видим никакого препятствия к тому, чтобы слово «эволюция» применялось и к только что помянутым здесь рядам космологических и геологических явлений; при этом даже нет надобности утверждать (как это делают некоторые новейшие французские популяризаторы и ученые), будто небесные тела, в особенности же Земля, должны считаться за живые организмы, за особи, в самом прямом и точном смысле этого слова. Таким образом, мы будем иметь новый наглядный пример эволюции, управляемой одним только законом всемирного тяготения, в которой нет помин о какой бы то ни было борьбе.

Ни сам Дарвин, ни один из его последователей не показали нам до сих пор, какую роль играет борьба за существование в явлении, которое следует считать за точку отправления эволюции органических форм, т.е. в том органическом срастании клеточек, без которого каждая из новорожденных клеточек очень удобно могла бы и обойтись в видах своего эгоистического благополучия, без которого мириады их и действительно обходятся каждый день, по примеру матери продолжая свою жизнь в одноклеточном состоянии. Должно полагать, что сам Дарвин обошел молчанием этот интересный вопрос именно потому, что сам он считал свой закон борьбы за закон чисто биологический, т.е. применимый только к очень определенному разряду явлений и столь же недействительный у низших пределов оформленного органического бытия, как недействителен закон всемирного тяготения в первобытном хаосе. Точно так же он не говорит и о половом подборе там, где родичей нет возможности подбирать, потому что полы еще не обозначились и размножение производится через саморазделение (сегментацию), почкование и пр.

II

В той же самой ученой Германии, где редакция «Космоса» отождествляет (вполне основательно, на наш взгляд) дарвинизм с «монистическим», или объединительным, мирозерцанием вообще, мы находим многочисленные примеры и совершенно иного понимания

этого плодотворного учения. Назовем хотя бы талантливо-фельетониста Гельвальда, который, затеяв несколько лет тому назад написать общую историю цивилизации в духе дарвинизма, счел себя тем самым обязанным объяснять все культурные явления с исключительной точки зрения борьбы за существование, предполагая, очевидно, будто этот «дух дарвинизма» всецело исчерпывается законом борьбы, а следовательно, будто допустить в области культурной истории и социологии участие каких-нибудь других, посторонних факторов значило бы отрицать эволюционное или, пожалуй, даже монистическое мирозерцание огулом. В результате получилась книга, написанная далеко не без привлекательности и даже представляющая немалый интерес благодаря большому запасу накопленного в ней свежего этнографического материала, но тем не менее возмущающая на каждом шагу беспристрастного читателя голословностью своих выводов, совершенно произвольною, крайне ненаучною группировкою терпеливо набранных фактов, а главное же — проникнутая таким безотрадным общим направлением, от которого сам автор впадает в безысходную тоску. Мы понимаем очень хорошо, что добросовестный исследователь не может отказаться и от крайне безотрадных выводов, хотя бы от них у него кровью обливалось сердце, если только он убежден в безупречной научности путей и методов, которыми он дошел до них. Но мы решительно неспособны усмотреть, в чем заключается гарантия за научную доброкачественность приемов, основанных на несомненном недоразумении: «Дарвин показал, что борьба за существование и половой подбор управляют биологическою эволюциею; люди, живущие обществами и создающие культуру, суть прежде всего биологические существа; а следовательно, общественная жизнь и культура должны быть продуктами одной только борьбы, споспешествуемой подбором родичей». Теоретическая несостоятельность подобного рассуждения, казалось бы, должна сама собою бросаться в глаза. На таком же точно основании можно ведь построить и нижеследующий силлогизм: «Ньютон показал, что весь солнечный мир управляется законом всемирного тяготения; растительные, животные организмы живут в солнечном мире; а следовательно, биологическая эволюция не может быть продуктом

ничего, кроме закона всемирного тяготения». Таким рассуждением сразу упразднились бы и дарвинизм, и эволюция, и всякая научная биология. Само собою разумеется, что искать в XIX столетии специальных биологических законов, не принимая в расчет ньютоновского, более общего закона, мог бы только тот, чей ум окаменел или застыл на уровне философского горизонта XVII столетия. Но Дарвин своим законом борьбы ведь и не думал освобождать или изымать биологический мир из-под власти всемирного тяготения. Во всем дарвинистском учении нет решительно ничего, позволяющего нам а priori утверждать, будто в мире культурном и социологическом не существует точно так же свой особый закон, не упраздняющий животной борьбы за существование, но и не отождествляющийся с нею, точно так же как самый этот закон борьбы, не упраздняя закона всемирного тяготения, не отождествляется тем не менее с ним.

Во всех европейских литературах уже десятками насчитываются социологические опыты и трактаты с более или менее громкими заглавиями, порожденные только что указанным недоразумением и совершенно неосновательным отождествлением дарвинизма, или эволюционной теории, с исключительным законом борьбы.

Охотно проходим молчанием этих многочисленных «социологов борьбы», преподносящих нам на всех языках клочки, понадерганные из более системных трудов, биологических и социологических, из Дарвина, Геккеля и Герберта Спенсера, или же пытающихся разрешить тот или другой практический вопрос из области новейшей истории при помощи таких теоретических основ, социологическая пригодность которых всего прежде должна бы была подлежать тщательной критической проверке. В немецких произведениях этого разряда ссылаются всего охотнее на пример России, будто бы легкомысленно повергнувшей себя в бездну всяких зол через освобождение крестьян, совершенное наперекор эволюционной социологии, требующей будто бы, чтобы реформы вырастали естественным путем борьбы, а не совершались в искусственном законодательном порядке. Французские же авторы (в их числе, например, д-р Г. Ле-Бон, автор увесистого трактата о «Человеке и об-

ществе») являются почему-то более склонными сокрушаться о тех мрачных судьбах, которые приготовляет себе современная Япония своим неожиданным обращением на гибельный путь общечеловеческой цивилизации. Несчастные, очевидно, не слышали, что «неумолимый закон борьбы» беспощадно осуждает на истребление все низшие племена, коль скоро они приходят в соприкосновение с высшими культурными расами!

Этот пресловутый закон, в силу которого низшие расы неизбежно должны вымирать при каждом соприкосновении своем с более цивилизованными народами, составляет, что называется, «конек» мнимо дарвинистской социологии реакционного или консервативного пошиба. А потому предположим на минуту существование такого закона научно доказанным и посмотрим, что же окажется тогда. Окажется прежде всего, что закон этот действительно приводится в исполнение там, где находятся добродетельные палачи, вроде английских цивилизаторов Тасмании, травивших беззащитных туземцев собаками и убивавших их из нарезных штуцеров единственно ради «спорта», т.е. из-за удовольствия убивать человека, не рискуя своею шеею. Там же, где цивилизаторы являются менее кровожадными, или по другим каким-нибудь обстоятельствам, или между низшею и высшею расами установились не охотничьи и не прямо воинственные отношения, туземцы будут себе более или менее благоденствовать не только в тесном соседстве с высшими культурными расами, но даже под игом этих рас. Так, например, якуты и буряты Восточной Сибири не только не обнаруживают никакой склонности к поголовному вымиранию, но даже довольно значительно увеличиваются в числе. Краснокожие Соединенных Штатов Северной Америки готовы были уже вовсе исчезнуть с лица земли, как исчезли тасманийцы, когда открылась счастливая возможность прежние их военные отношения к англоамериканцам заменить отношениями более общественного, т.е. более социологического, характера, и последняя поголовная перепись 1880 года показала уже довольно заметный прирост краснокожего населения в этой стране. Из этого уже прямо следует, что там, где отношения между людьми имеют исключительно зоологический характер войны, пожирание слабейшего сильнейшим является неизбежным

последствием. Коль скоро же отношения эти становятся социологическими, т.е. принимают характер более или менее разносторонней кооперации, товарищества, биологический закон борьбы не находит себе уже применения. Действительность показывает, что как воинственные, так и товарищеские отношения (и биологические и социологические) равно возможны между людьми, стоящими на очень различных ступенях культурного и антропологического развития.

Случается и так, что между цивилизаторами и туземцами не складываются товарищеские социологические отношения, но и не завязываются отношения открытой зверской войны. В истории колонизации далеких стран мы видим всего чаще, что пришельцы, вооруженные усовершенствованными орудиями производства, вступают в промышленное соперничество с туземцами, которых они не думают прямо истреблять. В таких случаях действительно оказывается очень скоро, что эти слабейшие соперники приходят в крайне бедственное состояние и могут наконец вовсе быть сжитыми со света безо всякой войны. Так исчезли, например, с лица земли целые десятки охотничьих племен Сибири вследствие того только, что русские охотники, гораздо лучше вооруженные, истребляли их дичь и тем заставляли их углубляться в такие тущобы, где существование их становилось невозможным по сотне самых разнообразных причин. Из этого мы вполне вправе заключить, что отношения экономической конкуренции тождественны с теми отношениями, которые очень часто встречаются в растительном и животном царстве, где особи, не пожирающие друг друга, но черпающие свое питание из одной общей среды, находятся между собой во взаимодействии, очень удовлетворительно объясняемом дарвиновским законом борьбы: особи более алчные так основательно высасывают из среды все пригодные им элементы, что для менее счастливых соперников уже и не остается ничего. Но ведь общественные отношения между животными и между людьми далеко не исчерпываются ни отношениями экономической конкуренции, ни отношениями войны. В той же самой истории колонизации далеких стран мы можем найти и такие примеры, где пришельцы высшего культурного и антропологического развития, не вступая с туземцами в това-

рищескую кооперацию, однако же, и не соперничают с ними; они находят для себя выгоднее предоставлять этим туземцам такие производительные поприща, которые для самих себя они считают слишком низменными. В области социологической такого рода отношения представляются нам очень еще несовершенными и очень зачаточными. Тем не менее на практике даже и эти зачаточные социологические отношения доставляют обеим сторонам довольно уже существенные выгоды, а в теории они служат неопровержимым доказательством тому, что явления социологического порядка не могут быть объясняемы социологическим законом борьбы. Сборища людей, стоящих хотя бы очень близко друг к другу или, пожалуй, даже сцепившихся за волосы между собою, не составляют непременно общество. А потому, прежде чем решать огулом, сплеча, сложные культурно-исторические задачи на основании биологических законов борьбы и подбора родичей, приходится еще решить с возможною научною обстоятельностью целый ряд докучных вопросов. Что же такое общество? Чем характеризуется сущность социологических явлений? В каких взаимных отношениях находятся между собою биологический и социологический миры?

Не подлежит никакому сомнению, что истинный дарвинизм в значительной степени облегчает нам решение этой задачи. Давая нам очень основательное представление о биологической эволюции и об управляющем ею законе борьбы, он позволяет нам ориентироваться в сложной области культурно-исторических явлений, не ограниченной такими заборами, которые бы даже поверхностному или ослепленному предвзятыми мыслями наблюдателю неизбежно бросались бы в глаза. Никто не думает отрицать, что в совместной жизни людей, даже стоящих на вершинах новейшей цивилизации, встречаются в изобилии явления, носящие несомненный характер борьбы за существование, а следовательно, и вполне удовлетворительно объяснимые теми биологическими законами, которые установил Ч. Дарвин. Но столь же очевидно, с другой стороны, что и в жизни животных, даже стоящих не особенно высоко на лестнице зоологического совершенствования, встречаются многочисленные примеры таких взаимных отношений и такой группировки особей, которые являются решительно не-

объяснимыми с точки зрения желудочной или половой борьбы. Из этого следует, что область социологическая не совпадает с областью антропологической. Мир общности не лежит над миром биологическим в форме прямолинейного, явственно разграниченного пласта: оба эти мира, напротив, взаимно входят друг в друга, сцепляются один с другим бесчисленным множеством корней и нитей, доходящих порою до микроскопических разветвлений, но ни в каком случае не сливаются и не отождествляются между собою. Основать социологию на дарвиновском законе борьбы за существование так же немислимо, как разрешить вопрос о солнечных пятнах на основании Пифагоровой теоремы.

Блаженной памяти классицизм в естествознании приучил нас делить всю познаваемую природу на три царства: минералогическое, растительное и животное. Ближайшим результатом переворота, связанного в науке с именем Дарвина, является убеждение в единстве и тождестве мирового процесса на всех его ступенях. При этом, само собою разумеется, уже и речи не может быть о разделении природы на какие бы то ни было царства, резко и конкретно разграниченные между собою. Младенец превращается в отрока, в юношу, в зрелого человека и т.д. рядом непрерывных и незаметных изменений. Следя шаг за шагом, по мелочам, за этим долгим и сложным процессом, мы необходимо теряемся в бесконечных подробностях и упускаем из виду самую его суть; из этого, однако же, не следует, будто наше представление о возрастах — бессодержательная абстракция. Точно так же и в мировом процессе развития мы можем намечать только такие преемственные отделы, которые очень отличны один от другого в своих средних терминах, хотя на границах и переливаются незаметно один в другой. Старая классификация давно уже не отвечает новым научным требованиям. Недостаток ее не в неопределенности границ между ее «царствами», а в том, что ее отделы не состоят в прямом соотношении с живым процессом развития, который один составляет для нас интересную и подлежащую реалистическому изучению сущность явлений природы.

Более соответственным духу новой науки является разделение подлежащих нашему исследованию явлений на три области, следующие одна за другою в поряд-

ке возрастающей сложности и большей изменчивости своих процессов и форм.

1-я область — *неорганическая*, исчерпываемая физическими и химическими процессами, для объяснения которых достаточно Ньютонова закона *всемирного тяготения*; мир геометрических, неподвижных форм;

2-я область — *биологическая*, включающая весь мир желудочных и половых интересов; мир растительных и животных индивидуальностей, состязающихся и изменяющихся в неустанной *борьбе за существование*;

3-я область — *социологическая* — мир коллективностей, мир интересов, выходящих за пределы одиночного биологического существования; мир *кооперации*, т.е. сочетания не противодействующих, а содействующих достижению одной общей цели сил, представляемых отдельными биологическими особями, способными под влиянием желудочных и половых интересов вступать между собою в состязание или в открытую биологическую борьбу.

Выше уже было замечено, что дарвиновский закон борьбы имеет очень определенную границу снизу, т.е. что он совершенно не нужен для объяснения явлений из той первой области, которую мы по старой памяти называли областью неорганической. Утверждать, будто закон этот применим к третьей, т.е. к социологической, области, значило бы добровольно отнимать у слов всякое определенное значение и впадать в ту безразличность, при которой содействие является одною из форм противодействия, а кооперация, взаимопомощное товарищество, является синонимом борьбы. С подобною диалектикою можно, конечно, договориться до всего, но при ней все сказанное становится по необходимости безразличным. Следовательно, или закон борьбы есть не всемирный, а чисто специфический закон явлений биологической группы, или же явления кооперации, сотрудничества, взаимопомощи не существуют нигде, кроме нашего воображения, а этим признанием упраздняется всякая социология: вся экономика, политика, культурная история не только неспособны во всей своей совокупности быть предметом особой научной отрасли, но с трудом даже могут дать научное содержание одной дополнительной зоологической главе. Говоря другими словами, основать социологию на законе борьбы за су-

ществование можно не иначе, как упразднив всякую социологию, признав не заслуживающую внимания всякую группировку особей, не имеющую боевого значения, и объявив всякое взаимопомощное содействие химерю, несбыточной мечтой.

Авторы, о которых было говорено выше, не договариваются до таких крайностей благодаря тому, что при большой начитанности и малой последовательности о социологических предметах можно написать целую библиотеку, не дойдя ни до какого конца. Но последовательный в своем ослеплении немец Йегер не остановился и перед этими геркулесовыми столбами нелепости. В вышедшем лет шесть тому назад своем «Учебнике зоологии» он «обрабатывает» в духе учения борьбы за существование всю социологию, семейную и государственную, в трех заключительных параграфах своей классификации органических форм. Передать такое бессмертное открытие своими словами мы, конечно, не решаемся, а потому и приводим в сокращенном переводе ниже следующие его измышления:

«§ 219. Биологическую индивидуальность второго порядка* составляет *семья*... Мы различаем: 1) семью *акефалическую*, или *безголовую*, обыкновенно называемую *стадом*, без вождя. Этот вид ассоциации встречается очень часто у животных низших, а также и у иных со значительно высшею организацией (сороки, водяные птицы); они отличаются чрезвычайною многочисленностью у некоторых морских пород (крабов, моллюсков, полицистин); 2) семью *кефалическую* (орда, народ, стая, товарищество). Меж тем как члены семьи безголовой состоят все между собою в отношениях *координации*, семьи этого второго вида имеют *вожака*, к которому все они состоят в отношениях *субординации*. Вожаком в большинстве случаев бывает самец (*патриархаты*), реже (например, у гусей) самка (*матриархаты*)... У семей *кефалических*, состоящих из нескольких поколений (журавли, дикие гуси, слоны), вожак выбирается частью по старшинству, частью же по своим способностям управлять стадом.

§ 220. Биологическая индивидуальность третичного

* Первичная биологическая индивидуальность есть *пара*, т.е. сочетание двух морфологических особей — мужа и жены.

порядка есть *государство*, состоящее из семей. Отличительным его признаком является разделение труда, ведущее иногда к морфологической разнородности... Этого рода индивидуальность встречается только у некоторых насекомых (термитов, муравьев, пчел) и у людей. Здесь следует строго различать два случая: а) государства, возникающие через увеличение семей путем размножения; мы называем их *племенными* государствами; низший вид этого рода — *государства половые*, высший — *государства национальные*, встречаемые только у людей; б) государства могут также возникать из особей, не состоящих в кровном родстве между собою; такие встречаются только у людей и называются государствами международными, или *агрегациями* (Америка, Швейцария). Государства племенные более естественны, потому что регулирующий принцип всякой организации, т.е. субординация, является уже предсуществующим в лице предков различных возрастов. Государства агрегационные организуются с гораздо большим трудом, потому что их составные части находятся первоначально только в отношениях координации и принцип старейшинства в них совершенно бездействует. Развиваясь, эти международные государства представляют нижеследующие стадии: а) *государства двухсторонние*, или *партионные* (Америка) — внешнее могущество, внутренняя борьба, смертельно тревожное состояние особей; б) *олигархии* — господство сперва денежной аристократии, переходящее потом в *наследственный патрициат* (классические республики, Швейцария). Если такое государство не гибнет преждевременно, то оно доживает до стадии тирании, чтобы следовать затем по естественному пути всякой плоти...

§ 221. В противоположности с предыдущим и неизмеримо выше его стоит племенное государство, которого все члены связаны между собою узами кровного родства. Мы встречаем его уже у животных и можем разделить нижеследующим образом стадии его развития: 1) *Половое государство* с двумя цехами: *воспроизводителей* (половых) и *работников* (бесполох). Последние находятся в подчиненном состоянии и если *фактически* и могут иногда забрать власть в свои руки, то только в таком смысле, в каком говорят, будто барин становится рабом своего слуги... 2) *Государство рабовладельческое*,

представляющее вторичную и более возвышенную форму племенного государства; оно является последствием военного государства, которое хищническим путем приобщает к себе разноплеменных особей; но они не остаются здесь, как в агрегационных государствах, в отношениях координации, способных затормозить организационную работу, а приводятся в ординацию (владельцы и рабы)... Владельцы все имеют пол, а потому, как и в половом государстве, они иногда впадают в зависимость от своих рабов (Древний Рим и рабовладельческие государства некоторых муравьев). 3) *Собственническое государство*, вытекающее непосредственно из предыдущего (сюда включаются государства *пастушеские* и государства *земледельческие*)...» «Высшая форма, которой может достигнуть общество — конституционная монархия, — может быть достигнута только государствами племенными в их национальном периоде; агрегации же могут производить только одну из низших форм (республику, федерацию или деспотизм)».

Мы бы рекомендовали всем псеводарвинизирующим социологам школы борьбы выгравировать эти строки на мраморной доске и иметь ее постоянно перед глазами, чтобы она оказывала им ту услугу, которой спартанские родители ждали от вида пьяного илота для нравственности своих детей.

III

Ошибочно было бы полагать, будто дарвинизм может обновить общественную науку внесением в нее принципов эволюции и борьбы за существование, которые сам он заимствует у нее. Представление о преемственности развития (т.е. об эволюции) на историческом поприще носилось довольно определенно и довольно живо в умах многих французских гуманистов XVIII столетия (например, у Дидро). Правда, оно не особенно улыбалось этим юношески нетерпеливым и смелым новаторам, жившим в одну из тех критических минут, когда человечество слишком круто порывает свои связи с прошлым, а потому и чувствует мало склонности научно уяснять свое с ним кровное родство. Принцип эволюции точно не был развит энцикло-

педистами до степени научного метода и даже скоро был, по-видимому, оттерт совершенно на задний план односторонним идеализмом Руссо, которого диалектическую исключительность новейшие позитивисты не без некоторого основания противопоставляют реалистическим приемам, восторжествовавшим на всех научных поприщах около ста лет спустя.

В первой половине нашего века эволюционный принцип в социологических своих применениях настолько уже носился в воздухе, что к нему естественно приходили мыслители самого разнообразного закала и темперамента. Гениальный самоучка Прудон, не связанный ни с какою школою, строит капитальнейшее из своих произведений — «Систему экономических противоречий» — на эволюционном начале, хотя и отражено, несколько невыгодно, сквозь призму его сомнительного гегелизма, заимствованного из вторых рук. Позднее, отделавшись от колодок гегелевской трилогии (игравшей, впрочем, далеко не существенную роль и в прежних его воззрениях), он пишет свои исследования о «Войне и мире», проводя с большою последовательностью и с обычною у него яркостью и силою диалектики бесспорно верную идею возникновения краеугольного социологического факта — договора, права — из первобытного биологического хаоса, руководимого только силою, т.е. борьбою... Мы бы никогда не кончили, если бы задумали перечислять здесь хотя бы только одни наиболее выдающиеся из социологических трудов первой половины нынешнего столетия, в которых идея преемственности развития культурно-исторических явлений устанавливается со всею желательною определенностью и ясностью. При имеющемся уже в наличности запасе исторических и этнографических сведений едва ли возможно даже исследователю, не ослепленному каким-нибудь предвзятым доктринаризмом, так распределить в своем собственном уме многочисленные факты, касающиеся религиозных верований, экономических учреждений, бытовых и политических форм у разных народов или в разные времена у одного и того же народа, чтобы закон преемственного развития этих верований, учреждений и форм не выступил на вид во всей своей яркости. Если бы для создания положительной социологии достаточно было одного провозглашения принципа эволю-

ции, то можно без малейшего преувеличения утверждать, что наука эта значительно опередила бы в своем развитии новейшую биологию и дарвинизм. Никому по крайней мере и в голову не приходило оспаривать Эдгара Кинэ, когда он (в своем «Мироздании») утверждал, что принцип преемственного совершенствования заимствован естествознанием у истории.

Что касается принципа борьбы, то он на социологическом поприще даже несколько предупредил появление систематического эволюционизма. Позволим себе напомнить читателю, что уже Адам Смит, очевидно противодействуя крайнему идеализму Руссо, счел нужным обратиться к исследованию нашей социологической наличности с чисто эмпирической, с описательной точки зрения. При этом он разлагает собирательную жизнь на две части, относя к одной из них все, касающееся нравственной стороны, и строго ограничивая другую часть только тем, что касается чисто животной стороны экономического приспособления человеческих обществ к внешней среде в видах удовлетворения одних только материальных, т.е. биологических, потребностей. Ланге в «Истории материализма» замечает вполне основательно, что такой прием со стороны А.Смита был совершенно законен и не дает нам ни малейшего права обвинять творца политической экономии в односторонности. Чтобы изучить влияние, оказываемое атмосферой на дышащие в ней существа, очень полезно в отдельности изучить азот и кислород, хотя мы и знаем очень хорошо, что в чистом кислороде, так же как и в чистом водороде, дышать нам решительно невозможно. А.Смит не думает утверждать, будто жизнь человеческих обществ исчерпывается одними экономическими приспособлениями, имеющими своею очень определенною целью удовлетворение одних только животных наших нужд, да и то, собственно говоря, не всех, а только тех, биологически важнейших из них, которые имеют теснейший интерес для самосохранения особей; потребности же тоже чисто биологические, но имеющие целью сохранение рода, а не особи, например половая любовь, принимаются очень мало в расчет политической экономии. Если бы А.Смит полагал, что коллективная жизнь человечества может ограничиваться этою экономической стороною, то он не стал бы тратить времени

на сочинение своего увесистого «Трактата о нравственности». Вышло, однако же, так, что этот «Трактат о нравственности» и в свое время не обратил на себя особенного внимания, теперь же он, даже и по заглавию, известен только очень немногим специалистам, да едва ли и заслуживает лучшей участи. Трактат же о «Богатстве народов» по глубине анализа, по блистательному изложению, отчасти же и по новости предмета стал одним из капитальнейших событий умственной истории своего времени. В нем А.Смит раскрывал перед изумленными современниками чудовищной сложности механизм (или, если хотите, организм), тщательно отделанный и гениально скомбинированный в самомалейших своих частях, механизм, спокон века перемалывавший самые насущнейшие их житейские интересы, истиравший в порошок в значительном количестве даже их самих, но о существовании которого только очень немногие из заинтересованных имели хотя бы самые смутные представления благодаря предварительным трудам французских экономистов и физиократов. Кто же создал этот гигантский механизм, носивший во всех своих подробностях столь очевидные, казалось, следы глубокой целесообразности и придуманности? Никто, как корысть, имеющая исходною точкою чисто животную необходимость приспособления к среде под страхом смерти от голода и холода. Чем движется этот сложный механизм, обладающий чуть что не волшебною способностью направлять к одному желанному центру тысячи, мириады разрозненных, чаще диаметрально противоположных стремлений? Личным эгоизмом каждого; всякое постороннее вмешательство может только испортить его изумительно тонкую и сложную игру. Посмотрите, какие несметные богатства он накопил уже для вас, пока вы даже и не подозревали о его существовании; а потому: «Laissez faire, laissez passer!» (думайте только о своих делах, всяк за себя, один Бог на всех; главное — не вздумайте только обуздывать своих эгоистических побуждений)¹. А как же с нравственностью? Это особое дело, обстоятельно изложенное в этическом трактате. А в трактате скука и суть; да к тому же «laissez faire» и «laissez passer» можно ведь очень удобно и без всякой теоретической подготовки.

Нет никакого сомнения, что голый эмпиризм А.Сми-

та, в смысле научного развития, составлял значительный шаг вперед сравнительно с теми чисто мистическими или метафизическими приемами, которые до тех пор господствовали безраздельно в области естествознания вообще. Благодаря этому относительному превосходству своего метода экономист очень скоро оттиснул всякую общественную философию и социальную этику совершенно на задний план. Политическая экономия овладевала исключительно солиднейшими умами этого времени, несмотря на то что факторы очевидно не экономического свойства (например, политические) играли заведомо очень важную роль в деле не только распределения, но и самого производства так называемых «общественных богатств»; в этом участии посторонних факторов в едином будто бы существенном деле экономической борьбы видели неизбежные остатки только что пережитой Европою эпохи варварства. Единственным общественным идеалом, который, не краснея, лелеяли солиднейшие умы того времени, было стремление очистить экономическую эволюцию от всякого участия этих непрошенных элементов и тем окончательнее и всестороннее отождествить ее с тою животною борьбою за существование, которая (как это нам разъяснили впоследствии) действительно составляет краеугольный закон всего биологического мира. Но так как общество решительно не может обходиться продолжительное время без каких бы то ни было нравственных начал, то вскоре, несмотря на броню неподражаемого и неподдельного самодовольства, одевавшую умы и сердца пророков политико-экономического учения, несмотря на громадный прирост «общественного богатства», начавший обнаруживаться повсеместно в Западной Европе в период безраздельного господства смитовских начал, внутренний разлад, беспредельное недовольство людьми и миром стали все нестерпимее томить первоначально одни только высшие круги и классы просвещенного общеевропейского общества, постепенно охватывая собою все более и более многочисленные сферы, не останавливаясь даже перед границею распространения грамотности в народе. Большинство людей так устроено, что нравственный разлад томит их неизбежно, как слишком тесный сапог на роскошном пиру, даже среди действительного изобилия всяких земных благ и чувст-

венных удовольствий. А тут еще дело, как на беду, устравалось так, что по мере возрастающего в невероятных почти размерах накопления земных благ число имеющих нравственную и фактическую возможность наслаждаться ими приметно суживалось из года в год. Параллельно этому ежегодно увеличивалось число затираемых беспощадною конкуренциею. Между достигшими и раздавленными становилось даже невозможным установить какую-нибудь уловимую грань. Так как необходимым условием приобретения материальной обеспеченности являлась ожесточенная борьба, вдохновляемая до крайности распаленными стяжательными инстинктами, то большинство удачников оказывалось все-го чаще в критическом положении неопытных чароде-ев, терзаемых теми самыми демонами, которых они же сами вызвали, но которых они уже не в силах обуздать. Кажущиеся счастливцы, возбуждавшие зависть во всех оставшихся позади в этой неистовой скачке с препятст-виями, не только не находили в себе вождеденной спо-собности мирно наслаждаться приобретенными богатст-вами, а в свою очередь сгорали завистью к опередившим их счастливцам или томились сознанием суетности приобретенных ими благ. Вся художественная литера-тура этого времени есть только один непрерывный ли-рический вопль, вызываемый этим внутренним томле-нием: неудержимое стремление бежать куда бы то ни было, хоть в самые непроглядные средневековые тущо-бы, неодолимая потребность отуманить каким-нибудь романтическим дурманом слишком отрезвленный по-литико-экономическим будничным эмпиризмом ум... Драгоценная способность непоследовательности могла еще до поры до времени служить паллиативом; но про-тиворечие развивалось быстро до таких вопиющих раз-меров, что не могло уже укрыться и от добровольно ос-лепляемых взоров: невозможно же в самом деле прово-дить шесть дней каждой недели в остервенелой травле ближнего из-за удовлетворения донельзя распаленной жажды наживы, а по воскресеньям с умилением выслу-шивать притчи о птицах небесных, иже не сеют, не жнут, и о богаче, сопоставляемом с верблюдом...

Оставалось бы, казалось, обратиться к тем началам, которым А.Смит посвятил свой нравственный трактат, и за невозможностью расследовать их с желательною

научною обстоятельностью применить по крайней мере к ним ту эмпирическую разработку, которая в сфере зоологической борьбы за существование давала такой через меру блистательный результат. Но, увы! Область нравственных интересов представлялась до такой степени перенаселенною всякими метафизическими и мистическими призраками, что ни науке, ни голому эмпиризму к ней не усматривалось вовсе доступа. Приходилось поневоле искать в той же самой погоне за наживою каких-нибудь крупниц или зародышей нового мировоззрения, способного сплотить в одно стройное целое противоречивые элементы — гипертрофированные корыстные побуждения и несогласные умолкнуть нравственные альтруистические требования, — взаимно пожиравшие друг друга в нашей душе. Ответом на этот спрос явилось достопамятное учение Мальтуса, обозначающее собою действительно мировой момент в истории развития общественных и биологических наук. Бессмертный протестантский пастор, обеспечивший свой личный успех в борьбе за существование воскресными проповедями о только что помянутых птицах небесных и о богаче с верблюдом, нежный отец одиннадцати дочерей, Мальтус в свободное от своих воскресных занятий время усмотрел, что эта борьба каждого против всех только по внешности кажется служащею исключительно узкоэгоистическим корыстным интересам состязающихся. В сущности же, пожирая ближнего в необузданном экономическом состязании, мы исполняем, хотя бы и сами о том не ведая, великий провиденциальный закон, закон благодетельный по преимуществу, так как им обеспечивается прогресс цивилизации и совершенствование человеческого рода. Таким образом, оказывается, будто бы обуздывающий свои корыстолюбивые побуждения не только не совершает тем самым нравственного поступка, но, скорее, даже заслуживает порицания, как солдат, уклоняющийся от битвы с неприятелем, низводит свое собственное значение на степень нуля и тем как бы обманывает расчеты, возложенные на него провидением. Еще хуже, в смысле этого учения, поступает тот, кто вздумает из чувства человеколюбия оказывать поддержку слабым и беспомощным, затертым беспощадною конкуренциею, потому что таким образом как будто извращается благой закон борьбы, сохраняется не-

годный для коллективного предприятия субъект, который непременно должен занять место, будто бы приготовленное на жизненном пиру для более состоятельного бойца, нанося, таким образом, известный ущерб не только этому незаконно устранимому сопернику, но и прогрессивному развитию дальнейших поколений. Что касается обуздания эгоизмов, то Мальтус без особенного труда выдерживает тон олимпийского величия, подобающий объективному мыслителю, вещающему миру в первый раз такие глубокие, такие новые и вместе с тем оглушительные для него истины. Немудрено: он сознает, что провидение слишком обеспечило свои расчеты с этой стороны и что люди, успешно состязающиеся в жизненной борьбе, всего менее склонны грешить излишеством самообуздания. Но зато в качестве протестантского пастора Мальтус знает очень хорошо, что удачливые дельцы далеко бывают не прочь обеспечивать себя на всякий случай от неприятной перспективы очутиться на том свете в положении верблюда, проходящего сквозь игольное ушко, и что в этих видах они порою готовы бывают бросать крохи со своего стола искалеченным непосильными состязаниями Лазарям. В филантропии автор знаменитых прогрессий усматривает одну из важнейших язв нашей цивилизации, а потому и проповедует воздержание от нее с гораздо большим жаром и пафосом, чем самое свое пресловутое «нравственное воздержание» (*moral constraint*).

Психически Мальтус, по-видимому, не успел установить в себе самом необходимое внутреннее равновесие. Очень вероятно, что он в обыденной жизни был даже очень добрый человек, не способный относиться безучастно к страданиям ближнего; он только очень ясно понимал, что под законом непримиримой борьбы каждого против всех и всех против каждого нет никакой возможности спасти от гибели одного побежденного бойца, не осуждая тем самым на жертву вместо него другого, более сильного соперника. Как быть? Мальтус только подводил итоги тому, что достаточно обнаружил уже А.Смит, не уклоняясь ни на шаг от эмпирических приемов, завещанных великим творцом политической экономики. Плодом его личного сочувствия к страждущим жертвам бездушной борьбы, составляющей будто бы неизбежный наш удел, является единственная, правда

очень существенная, непоследовательность, легко заметная даже на первый взгляд в его целостном и солидно законченном учении. Убедив нас, будто для успехов цивилизации и для совершенствования человеческого рода совершенно необходимо, чтобы на каждый имеющийся каравай разевалось по меньшей мере сто голодных ртов, из которых неумолимою борьбою девяносто девять будут устранены в пользу одного достойнейшего, он рекомендует в видах облегчения неустранимых человеческих зол всем, не обеспеченным наследственными имуществами, воздерживаться от деторождения. Спрашивается, что же станет с нашею цивилизациею, если неустраняемая борьба вдруг устранится сама собою вследствие того, что число ртов придет в соответствие в числом наличных караваев, есть которые каждому приятнее, чем отнимать их у ближнего? Что же станет с пресловутою теориею Мальтуса, краеугольным камнем которой служит положение, будто каждое улучшение быта народных масс естественно должно привести к усиленному деторождению?

Джон Ст. Милль, желая отстоять закон Мальтуса в своем *quasi*-социалистическом мирозерцании, рекомендует в качестве единственного средства против пауперизма поднять уровень рабочих масс настолько, чтобы они прониклись сознанием непреложности этого закона и отказались от семейных утех, а затем организовать на государственный или общественный счет эмиграцию рабочих *en masse*, чтобы уменьшением числа предлагаемых на рынке рабочих рук значительно повысить задельную плату, которая и будет застрахована от быстрого дальнейшего понижения уменьшенным деторождением. Средство это сильно напоминает ловлю руками птиц, предварительно насыпав им на хвост соли; но дело здесь не в том, а в том, что если закон этот так удобно мог бы быть обойден сознательною коллективною деятельностью людей, то в чем же заключается его пресловутая космическая непреложность?

Отбрасывая, таким образом, эти дополненные Джоном Ст. Миллем псевдочеловеколюбивые мальтузианские мечты, мы можем смело утверждать, что автор пресловутых прогрессий развил теорию борьбы и естественного подбора в социологическом ее применении с такою полнотою, которая уже решительно не нуждается в

дальнейших биологических пояснениях и толкованиях. Дарвин и Уоллес знали очень хорошо, что они применяют к биологической области закон, более полувека тому назад уже примененный к общественному Мальтусу, и сами они, конечно, нисколько не помышляли обновлять социологию этим своим глубоко осмысленным применением.

IV

За Мальтуса и против Мальтуса исписаны целые тома, тем не менее пресловутый его закон никогда еще не был ни научно установлен, ни научно опровергнут в социологической области. Прискорбное это положение очень естественно вытекает из того, что ни самый предмет социологических исследований, ни подобающий этим исследованиям прием или метод до сих пор еще не выяснены с надлежащею научною определенностью. Однако же каждый раз, когда мальтусовский закон пытались приложить к разъяснению того или другого социологического явления, то неизменно оказывалось, что он не только не служил ключом к разрешению поставленных задач, но даже не помогал ориентироваться сколько-нибудь основательно в исследуемых при его помощи задачах. Если закон этот должно понимать только в смысле мрачного предостережения, что когда-нибудь, в совершенно неопределенном будущем, земной шар окажется настолько перенаселен, что люди при всевозможных усовершенствованиях технических и социальных приспособлений не в состоянии уже будут доставать себе питательные вещества, в таком случае наперед уже можно бы было решить, что закон этот не имеет решительно никакого социологического значения. Астрономы полагают же, например, что солнечная теплота должна со временем оскудеть, угрожая не только целой Земле, но зараз уже и всем планетам с их спутниками неизбежную гибелью. Немного выиграет род людской от того, что вместо смерти от голода исчезнет от мороза. Если же признать, будто этот закон в каждый данный момент уже теперь благодеянием непрестанной грызни и беспроходной нищеты менее стойких бойцов спасает каждую данную страну от перенаселения, а цивилиза-

цию от застоя, то с первых же шагов натыкаешься с ним на непреодолимые препятствия и противоречия. Прежде всего бросается в глаза, что населенность и нищета нигде не состоят между собою в функциональном отношении. Россия, например, при 12 душах населения на 1 квадратную версту пользуется гораздо меньшею экономической обеспеченностью, чем Франция, населенная в пять или шесть раз гуще ее, и при этом мы не имеем ни малейшей возможности утверждать, будто борьба за существование во Франции ведется с большим ожесточением, чем у нас. А это уже прямо ведет к противомальтузианскому заключению, что успешность экономических приспособлений в данном обществе не соизмеряется ожесточением борьбы, что цивилизация, даже в современном несовершенном своем значении, обеспечивается вовсе не многочисленностью контингента вымирающей от нищеты и голода голытьбы. А о других каких-нибудь факторах во всем мальтузианстве нет и речи.

Проследим ли мы в одной какой-нибудь стране (как это было сделано Пруденом для Франции) возрастание за различные промежутки времени цифр населения параллельно с суммою наличных богатств — и тут мы решительно неспособны усмотреть требуемой Мальтусом функциональной зависимости. Вообще в цивилизованных странах прогрессия возрастающего населения (по Мальтусу, будто бы геометрическая) приметно отстает от прогрессии богатств (по Мальтусу, будто бы арифметической). Упрочивающееся благосостояние повсюду не только не обнаруживает склонности вызывать усиленную деторождаемость, а действует в диаметрально противоположном направлении. В Древнем Риме параллельно с чудовищным накоплением богатств обнаружилось такое общераспространенное отвращение от производства на свет себе подобных, что явилось поползновение в законодательном порядке налагать штрафы на холостяков и поощрять государственными мерами рождение младенцев. В любом современном государстве, в любом большом городе можно очень явственно проследить, что нищета, являющаяся в мальтузианском мировоззрении прямым последствием перенаселенности, в действительности оказывается, наоборот, коренною причиною усиленной рождаемости. Обобщая статистические

данные, Герберт Спенсер приходит к тому заключению, что с упрочивающимся материальным благосостоянием и с прогрессом культуры цифры народонаселения обнаруживают приметную склонность держаться на одной и той же высоте, причем цифры рождаемости и смертности более и более понижаются, и что эта численная неподвижность населения вовсе не замедляет дальнейшего совершенствования рас и быстрого культурного преуспеяния...

Мы не отрицаем, что при известной диалектической увертливости можно каждое из только что указанных противоречий (не считая множества других) пристегнуть с грехом пополам к пресловутым мальтузианским прогрессиям; но объяснить их конкретно и логически на основании мальтузианского закона борьбы отказались уже давно даже самые горячие сторонники этого учения. Таким образом, мальтузианство уже с давних пор служило для политико-экономистов классического направления чем-то вроде почетного знамени, которым в торжественных случаях потрясали на страх врагам, но которое оказывалось решительно непригодным для серьезного дела. Импульс, данный политико-экономическому направлению А.Смитом и Мальтусом, совершенно обрывается уже на Рикардо, своею теориею рент несколько дополнившем теорию благодетельности борющихся эгоизмов в деле общественного благоденствия. С Ж.Б. Сэем политическая экономия отрекается от научных поползновений и вступает на путь, приведший ее по наклонной плоскости к «гармоническим» словоизвержениям Фредерика Бастиа, с которыми уже никакая наука, ни даже сколько-нибудь плодотворный эмпиризм не могли иметь решительно ничего общего. Все живое и цельное от Прудона до Карла Маркса включительно, исходя из различных начал, роковою силою влеклось в ряды противомальтузианского лагеря. Теория борьбы падала не под ударами врагов, а выветривалась сама собою, обнаруживая каждым своим новым появлением перед публикою только все большую несостоятельность сказать хоть одно дельное слово по поводу какого бы то ни было животрепещущего вопроса или явления социологического порядка, так что о ней скоро и вовсе бы перестали думать или говорить, если бы неожиданный ее успех с Дарвином и Уоллесом на биоло-

гическом поприще не привлек к ней снова всеобщего внимания...

Ни для кого не тайна, что в смысле научной обстоятельности естествознание далеко опередило обществознание, а потому у каждого является предположение, что если даже такой солидный ученый, как Ч.Дарвин, принимает основные положения Мальтуса всерьез, то, значит, они-то и выражают собою самую истину. При этом мало кому приходит в голову, что доброкачественность научного закона или приема не может существовать безотносительно к области явлений, охватываемых этим законом или методом. Закон всемирного тяготения бесспорно общее и научнее закона борьбы, но попытайтесь при помощи его исследовать явления биологической эволюции. Организмы, растительные или животные, не перестают, конечно, быть прежде всего весомыми телами и как таковые подлежат непреложному действию закона тяготения. Обходясь в биологической области теми законами и теми приемами, которые низшую, неорганическую природу объясняют нам вполне, мы неизбежно должны будем проглядеть то, что составляет характеристическую особенность, т.е. сущность биологических явлений. В свою очередь применение биологического закона к низшей, неорганической среде неизбежно могло бы только привести к смешению и путанице. Одно то обстоятельство, что закон борьбы за существование с таким успехом мог быть применен к сфере биологических явлений, должно наводить нас на мысль, что он органически неспособен стать законом социологическим. Мысль эта тотчас находит себе фактическое подтверждение уже в том одном, что мальтузианцы в период наипущего своего процветания несомненно рассматривали каждое общество как простую агрегацию живых существ, одаренных способностью производить детей, приспособляться и пожирать, без малейшего соотношения к доброкачественности связывающих их общественных условий. Каждый раз, когда противники или отщепенцы правоверного политико-экономического направления усиливались обратить наше внимание именно на эти общественные условия, т.е. на самую социологическую суть, мальтузианцы дружным хором упрекали их в праздной мечтательности, утверждая совершенно голословно, будто судьбы людей и

народов достаточно определяются пресловутыми прогрессиями, которые невозможно будет обойти никакими улучшениями общественных порядков. Короче говоря, мальтузианство категорически отрицает самый объект социологических исследований, видя в обществе, в различных методах коллективирования не более как частный случай всеобщей биологической борьбы за существование. Теперь, побывав в зоологических и антропологических лабораториях, оно говорит с нами совершенно иным языком; но мы еще не знаем, научилось ли оно проводить сколько-нибудь определенные границы между биологиею и социологиею?

Огюст Конт, к которому невольно приходится обращаться в подобных случаях, так как самое слово «социология» ведет от него свой род, учил нас, что область социологии начинается там, где биологический эгоизм сменяется альтруизмом, стало быть, где отношения борьбы сменяются диаметрально противоположными отношениями взаимопомощи, дружбы, любви, товарищества. При таком определении о законе борьбы в социологии так же мало могло бы быть речи, как, например, о морозе при температуре кипения. Оставалось, казалось бы, только конкретно указать, где начинается самый альтруизм, откуда берется он, т.е. какими реалистическими узами социологический мир вяжется со служащим ему подножием миром социологии. К сожалению, эта существенная часть задачи исполнена верховным жрецом французского позитивизма с гораздо меньшею категоричностью и обстоятельностью. О.Конт не только не выводит нас последовательно из области биологии в высший социологический мир, а даже усиливается создать между этими двумя сферами искусственную пустоту, благодаря которой все его социологические построения неизбежно должны оказаться висящими в воздухе.

Молодой французский ученый Альфред Эспинас в вышедшем уже несколько лет тому назад блестящем трактате «Sociétés animales» замечает, будто европейское человечество бьется уже около двух тысяч лет над разрешением вопроса, что такое общество. При этом все предлагаемые с разных сторон решения легко могут быть сведены к двум. Умы позитивистского пошиба от Аристотеля до наших дней, т.е. до Герберта Спенсера и

самого Эспинаса включительно, видят в обществе живой организм, в котором мы, кичливо считающие себя за венец мироздания и за самостоятельные существа, являемся не более как особями подчиненного порядка или органами. Умы же идеалистического пошиба от греческих софистов до Ж.-Ж. Руссо смотрят на общество как на договор, произвольно заключаемый между людьми в видах достижения собственных своих выгод.

Две тысячи лет, бесспорно, очень уважительный срок, и можно бы прийти в отчаяние при мысли о том, что передовые умы не успели за это время прийти к соглашению по поводу столь существенного вопроса. Сами собою, однако, сейчас же приходят на ум некоторые смягчающие обстоятельства. А именно, что решения классической древности для нас все равно не могли бы иметь значения уже потому, что греческие мудрецы только в сфере низшей математики могли сходиться с самыми умеренными скептиками наших дней в своих представлениях о научности. По мере же собственной своей требовательности они, вероятно, решали этот вопрос вполне удовлетворительно, если не устами греческих софистов и мудрецов, которые жили в слишком уж тесном мире своих микроскопических республик и тираний, то по крайней мере устами римских своих последователей, вроде, например, Лукреция. А затем вскоре на всю Европу опустился непробудный мрак времен, на который из помянутых двух тысяч лет можно бы удобно отбросить хоть полтора тысячелетия. Собственно говоря, спор этот получает для нас существенный интерес только с той поры, когда теория договора в блестящем изложении Ж.-Ж. Руссо, так вдохновлявшая наших дедов и прадедов конца прошлого столетия, сопоставляется лицом к лицу с научно формулированной, по крайней мере по внешности, теорией общества-организма. При этом еще следует заметить, что нерв, или жизненный узел, вопроса лежит едва ли там, где его видит Эспинас, и что вопрос этот, будучи разобран по существу, окажется даже вовсе и не вопросом.

Не вдаваясь в диалектические тонкости, а следя за развитием этого разногласия в новейшие времена, на более позитивной исторической почве, мы видим прежде всего, что философское недовольство теорией общественного договора по Ж.-Ж. Руссо первоначально от-

дивается вовсе не в форму диаметрально противоположной теории, рассматривающей общества как живые организмы. Сам Руссо, в особенности же некоторые из его исторически знаменитейших последователей, рассматривая общество как продукт взаимного соглашения договаривающихся между собою, выводили из этого, что люди могут в каждую данную минуту изменять по своему усмотрению весь этот договор или те из его частей, которые оказались заведомо не ведущими к имевшейся в виду цели. Затеяв такую переделку *en grand*, они не без горького изумления убедились, что, уничтожив действительно не соответствовавший требованиям нового времени прежний договор, они на месте его пожали не совсем то, что сеяли. Умудренные этим разочарованием мыслители следующего поколения (в их главе тот же О.Конт) пришли к убеждению, что исторические явления развиваются каким-то своим загадочным чередом и что общественные затруднения не могут быть устраняемы эмпирическим путем, так как они зависят от множества условий, обыкновенно не принимаемых в расчет слишком пылкими и увлекающимися реформаторами. По мнению французских позитивистов, ведение общественных дел должно быть поручено синоду специалистов, изучающих научным путем многосложные условия общественного развития и образующих из себя нечто подобное китайскому трибуналу церемоний. Мы не станем останавливаться на той причудливой форме, в которую О.Конт облакал свои социологические построения, но и по содержанию воззрения контистов на этот счет представляют мало самобытного и интересного. Признавая исходною точкою общественности альтруизм, О.Конт, очевидно, не может впадать в непримиримые противоречия с общественною теориею договора, так как договор выражает собою только позднейший возраст развития тех же самых альтруистических начал, только уже дозревших до полной сознательности. Можно представить себе такую теорию, которая, отправляясь от основных положений контизма об «альтруизме» и о «трех возрастах сознания», представила бы нам в одной полной и, возможно, научной картине весь многочисленный ряд прогрессивно развивающихся общественных явлений, от первых проявлений зародышного стихийного коллективизма, встречаемых уже

на самых низших ступенях биологической лестницы, до тех идеальных общественных договоров, которые до настоящего времени еще не конкретизировались нигде, кроме как в сознании небольшого числа людей, разбросанных по всем углам цивилизованного мира. Такая социологическая теория неизбежно примкнула бы своими началами к стройному ряду положительных наук и, вероятно, на некотором продолжении своего пути слилась бы с биологиею, чтобы затем отделиться от нее, направляясь к тем идеологическим сферам, которые только своими корнями органически привязаны к миру прошлого и настоящего нашей Земли, но вершины которых принадлежат еще только эволюции будущего. Ни сам О.Конт, ни его последователи, однако же, не дали нам такой теории. Заслуга их, на наш взгляд, заключается в том, что они верно указали сущность общественных явлений — альтруизм, — органически неспособную отождествиться с сущностью биологических явлений, с борьбою за существование. Но О.Конт очень основательно расходится с эволюционистскою теориею в том, что он (как выше уже было сказано) создает между социологиею и биологиею искусственную пропасть. В его классификации социология венчает научное здание, но венец этот, висящий на воздухе, представляется как бы сделанным из совершенно иного, крайне субтильного вещества, к которому О.Конт не позволяет подходить с обычными приемами научных исследований. Анализ безжалостно изгнан из социологической области навсегда; социологический метод, по его предписаниям, должен быть исключительно синтетическим до шаманизма. Говоря другими словами, контизм уже в 60-х годах являлся доктриною устарелою, неспособною вместить в себя те эволюционные истины, которые уже добыты научным путем. Провозглашая своею исходною точкой качественное единство мировой жизни на всех ее ступенях, он не может представить себе космическую эволюцию иначе, как разрезанною на несколько клочков, отделенных от последующего и предыдущего пустыми пространствами. Отвергая схоластические классификации вообще, контисты верят в реальное существование собственных своих школьных рубрик и подразделений. От этого во всем их учении царит от начала до конца затхлый кабинетный тон, совершенно отвечающий ду-

ху нашего времени. Поэтому-то со смертью последнего своего могикана Э.Литтре, возбуждавшего сочувствие своими специально учеными трудами, передовой отряд этого лагеря должен был прекратить издание своего органа «Philosophie positive». Редакторы этого покойного журнала, гг. Вырубов и Робэн, объясняют себе это при- скорбное событие тем, будто в современной публике ох- ладел интерес к общим вопросам. Такое объяснение едва ли верно, потому что в той же самой легкомысленной Франции другие философские периодические издания (хотя бы, например, «Revue philosophique» г. Рибо) процветают и разрастаются из года в год, питаюсь исклю- чительно одними общими вопросами. Дело в том, что весь склад современной жизни против всякой замкну- тости и кабинетности. Эволюционное учение приучает нас интересоваться во всех явлениях одною только их жизненною стороною, понимая, что школьные подраз- деления и тонкости — вещь условная и преходящая по преимуществу. Сегодня господа ученые находят для се- бя удобным располагать свои материалы и выписки в одном порядке, завтра порядок этот может быть суще- ственно изменен; и благо, лишь бы только поучитель- ность, жизненное значение самого материала выступа- ли ярче и общедоступнее на вид при новой перестанов- ке. Значение слова *знать* для всех уже выяснилось дав- но, и всякий понял, что знание может быть качественно одно по всем категориям и отраслям исследуемых явле- ний. Понятно, что относительно вопросов очень слож- ных и трудных поневоле приходится ограничиваться порою за неимением точного знания более вероятными предположениями, но существует неизмеримое качест- венное различие между научною гипотезою и гаданием на кофейной гуще. Состояние современной социологии таково, что от нее еще долго нельзя ждать непогрешимых рецептов для исцелений, в частности, того или дру- гого из разъедающих нас общественных зол. Тем не ме- нее господство того или другого теоретического воззре- ния в сфере научной или quasi-научной социологии со- ставляет явление значительной жизненной важности прежде всего потому, что между такими преобладающи- ми воззрениями и основным строем общественной жиз- ни всегда существует тесное, хотя и нелегко уловимое в силу своей разносторонности отношение; во-вторых, по-

тому, что эти теоретические воззрения, господствующие в сфере общественных наук, служат для нас в каждый данный момент единственною возможною основою научной нравственности. Контизм был противодействием экономической теории борьбы и необузданности личных корыстных стремлений. Научная доброкачественность его, сколь ни относительно представляется она нам теперь, не уступала, однако же, теоретической убедительности политико-экономического эмпиризма; к сожалению, благодетельность этого контистского противодействия значительно ограничивалась китайскою стеною кабинетности, препятствовавшей распространению этого учения в среде, чуждающейся кружковой замкнутости и сектантства.

V

Значительно высшую ступень научного развития выражает собою английский эволюционный позитивизм, до сих пор сосредоточивающийся почти исключительно в высокодаровитой, блестящей личности Герберта Спенсера. Учение этого замечательнейшего из современных мыслителей пользуется у нас такою известностью, что нам нет надобности излагать его здесь в сухом и сжатом извлечении. Вооруженный неисчерпаемым множеством самых разнообразных знаний, светлый ум Спенсера одним орлиным полетом охватывает всю бесконечную цепь космических явлений и улавливает то их органическое единство, которое О.Конт видел как бы сквозь сон. Для Спенсера не существует различных категорий существ, и все природные явления представляются ему только различными степенями усложнения одного мирового движения; степени эти переливаются одна в другую незаметными переходами, которые ум наш не может уловить, а потому Спенсер, отделяя биологическую область от социологической, не создает между этими двумя сферами знания никаких искусственных пропастей и понимает очень хорошо, что нашей потребности в классификации не соответствует в действительности никакая разрозненность. Социологические явления представляют в среднем термине значительно большую степень усложнения, чем смежные с ними яв-

ления биологические, а потому он и выделяет их из нее, устанавливая социологию как самостоятельную научную отрасль. Переход от социологии к биологии составляет, по мнению Спенсера, психология, которую О.Конт не считал за особую научную ветвь. Это разногласие Спенсера с французскими позитивистами едва ли имеет существенное значение, так как и О.Конт тоже давал социологическим явлениям психологическую основу — альтруизм. В этом отношении контистское определение имеет даже некоторое преимущество, по крайней мере с интересующей нас здесь точки зрения, потому что оно предрешает вопрос о несоциологичности теории борьбы.

Будучи гораздо лучше своего предшественника освоен с биологическими задачами, Спенсер обращает внимание на относительность понятий *особь* и *общество*, не уяснив которую мы действительно не имеем возможности разграничивать с какою бы то ни было конкретностью смежные области социологии и биологии. Помимо всяких социологических соображений в сфере ботаники и низшей зоологии уже давно было замечено, что представление *индивидуальности*, т.е. чего-то *неделимого*, личного, абсолютно законченного, вносит в биологические исследования немалую долю путаницы, избежать которой нельзя иначе, как признав различные ступени индивидуальности, каждая из которых, являясь целым или особью относительно предшествующего момента, в свою очередь играет роль части, подчиненного органа по отношению к следующим усложнениям. Клеточка в биологических отношениях оказывается вполне способною вести самостоятельное существование, т.е. питаться, размножаться, приспособляться и вступать с другими клеточками в отношения борьбы или ассоциации на свой собственный счет. Существуют растительные (водоросли) и животные (инфузории) организмы, которые принято считать одноклеточными, несмотря на то что анатомическое их строение представляет уже немалую долю усложнения. Эти же клеточки способны, сочетаясь между собою, производить новые органические усложнения, которые в свою очередь существуют то в виде более или менее сложных особей, довлеющих себе по всем физиологическим ведомствам, то в виде составных частей (тканей, органов) более сложных растительных и животных тел. Мы сами, как и все позвоночные жи-

вотные, представляем собою пример таких собирательных организмов, состоящих из частей, тоже очень сложных и имеющих свою, очень уже определившуюся индивидуальность. По свойственной человечеству привычке приурочивать все к себе и считать себя за конечную цель и за венец мироздания мы неизбежно преувеличиваем значение той ступени космической эволюции, которую мы представляем собою, и ограждаем свою собственную позицию непреступными пропастями сверху и снизу. Нам кажется, будто настоящая индивидуальность только наша индивидуальность и что все другие должны быть качественно отличны от нее. Здесь нет возможности передать, хотя бы в сжатой форме, интересные исследования по этой части ботаника Негели, анатома Вирхова, физиолога Гексли и др., устанавливающие эту эволюцию индивидуальности на неопровержимой научной почве. Исследования эти приводят к тому заключению, что наиболее абсолютный характер индивидуальности или особи по преимуществу имеет только низший член этой группы, который один только и обладает способностью проходить свое земное поприще от начала до конца, не прибегая к началам группировки или ассоциации. Для нашей цели решительно все равно, признаем ли мы за этот абсолютный индивид органическую клеточку, которая до позднейшего времени считалась за простейший организм, за действительно неделимое, так как по разделении получилось бы уже не органическое вещество, а химическое соединение, или же мы допустим вместе с некоторыми новейшими исследователями, что клеточка в свою очередь состоит из простейших, но уже организованных элементов. Для удобства изложения мы придержимся той градации индивидуальностей, которую в конце прошлого года предложил молодой итальянский зоолог Джакомо Каттанео в своем интересном исследовании о линейных колониях и о морфологии моллюсков («Le colonie lineari e la morfologia dei molluschi»). Классификация эта имеет в наших глазах неогценное преимущество краткости и простоты. Как и некоторые из его предшественников, Каттанео считает возможным обойтись в зоологии только с четырьмя видами индивидуальности: 1) *пластиды*, т.е. абсолютные индивиды, или простейшие органические существа; 2) *мориды*, т.е. колонии, или об-

щества, пластид; 3) *зоиды*, соответствующие *кормусам* (*cornus*) ботанической классификации, т.е. представляющие собою общества морид, и особенно интересные для нас потому, что мы сами, как и все высшие животные, принадлежим к этой ступени, и, наконец, 4) *дэмы*, или общества зоидов, отвечающие более или менее представлению «общества» в самом обычном смысле этого слова.

Если социология имеет целью исследовать отношения особи в обществе подобных себе, то ей по необходимости приходится разрешить предварительный вопрос, какую из вышеупомянутых ступеней индивидуальности она примет за исходную точку своих исследований. Для О.Конта вопрос этот не существовал, так как он, руководствуясь ходячими, так сказать, антропоцентрическими представлениями об индивидуальности и об общественности, ограничивал поле социологии одними только человеческими ассоциациями. По его мнению, альтруизм, служащий характерным признаком социологических явлений, впервые проявляется в роли мощного фактора космической жизни в тот момент, когда два индивида из группы *зоидов* или, точнее, два человеческих существа, движимые побуждениями половой любви, вступают в продолжительный союз, имеющий общею им обоим целью воспроизведение третьего существа и сохранение рода. Очень вероятно, что в таком определении исходной точки социологических исследований О.Конт руководствовался отчасти своим поверхностным отношением к значению индивидуальности и общественности в биологии, отчасти же бессознательно поддавался рутине, приучившей нас считать семью за «естественную ячейку общественности». Но в настоящее время большое количество накопившегося этнографического материала, рисующего в более реальном цвете картину быта отсталых народов, убеждает нас, что семья, в особенности же патриархальная семья, не могла служить исходною точкою развития общественности уже потому, что она сама возникает только на сравнительно высоких ступенях общественного развития, что ей предшествовала семья *матриархальная* (т.е. под главенством матери), проходившая в свою очередь через длинный ряд эволюционных ступеней, начиная с первобытной общности жен; что, наконец, эта первобытная общность жен необходимо предполагает уже известную

общественную организацию, охранявшую девушек и женщин данного племени от захвата их силою в исключительную собственность одного и изъятия их таким путем из общего пользования.

Правда, О.Конт мотивирует свое ограничение социологической области снизу возникновением человеческой семьи не историческими, а философскими соображениями. Нельзя, однако же, не заметить, что семья, даже в высших своих развитиях патриархата и затем одноженства, встречается у очень многих животных, стоящих даже не особенно высоко на зоологической лестнице. А следовательно, контовская граница и с его альтруистической точки зрения представляется произвольною. На это О.Конт возражал, что социологические явления вообще только в человечестве достигают типического своего развития, а потому на семьи и иные общества животных следует смотреть только как на przygotowательную ступень настоящей общественности, не заслуживающую внимания.

Спенсер существенно отличается от О.Конта как своею несравненно солиднейшею ученостью, так и тем, что он строго изгоняет всякую телеологию, всякую предвзятую целесообразность из своих исследований. Он решительно не допускает, будто какое бы то ни было явление может существовать только для того, чтобы из него впоследствии родилась более осмысленная и высшая форма того же явления. Но прежде всего он не может, оставаясь верным основному духу своего учения, допустить, чтобы та степень индивидуальности, которую изображают собою высшие животные и человек, обозначала собою какой-нибудь действительный предел, за которым начинается нечто, качественно отличное от предыдущего. Биологическая эволюция индивидуальности не может заканчиваться *зоидами*, потому что *зоиды* в своем обособлении довлеют себе только с точки зрения питания; с точки же зрения другой важной физиологической функции — размножения — они необходимо должны сочетаться с другою подобною себе особью, т.е. образовать *дэм* в форме по крайней мере супружеской четы, которая служит, таким образом, связующим звеном между зоидною индивидуальностью и общественностью высшего порядка. Отсюда он прямо приходит к заключению, что общества, животные или

человеческие — все равно, суть живые организмы не в аллегорическом, а в буквальном значении этого слова.

Таким определением общества, установленным им уже в «Основных началах», Спенсер расходится, по-видимому, гораздо существеннее с учением об общественном договоре, чем расходился с ним О.Конт. Последний восставал только против таких попыток изменения общественных условий, которые исходят не из положительного социологического исследования, и лучшею практическою мерою считал учреждение помянутого выше социологического синода, который с трактатом «Позитивной философии» в руках выведет современное человечество из нынешнего состояния анархии к позитивной организации и порядку. Спенсер же, напротив, доходит до того, что Гексли ставил ему в упрек под именем «*правительственного нигилизма*», т.е. до отрицания возможности оказывать существенное воздействие на судьбы общества каким бы то ни было диктаторским, правительственным или вообще сознательным путем. Общества — организмы, а потому они растут, а не создаются какими бы то ни было диктаторскими предписаниями или договорами. В общественных судьбах инстинкты, бессознательные побуждения, стихийные стремления людей играют несравненно важнейшую роль, чем так называемые их разумно-свободные действия. Короче говоря, из своих часто глубокомысленных, всегда блестящих экскурсий во всевозможные сферы бытия Спенсер выносит всего прежде уже знакомую нам политико-экономическую теорию «*laissez faire, laissez passer*», но только переложенную на совершенно новую, эволюционистскую подкладку. С обычным своим красноречием и разностороннею солидною эрудициею он пытается убедить нас, что наиглубокомысленнейший факультет социологов был бы не в состоянии организовать малейшее из отправлений общественной жизни наполовину так хорошо, как оно устраивается само собою, будучи (как, например, снабжение съестными припасами Лондона с его пятимиллионным населением) предоставлено вполне общественной самодеятельности.

Мы позволим себе заметить, что из основного положения «общество есть организм» едва ли позволительно делать столь отдаленные заключения. Дерево несомненно (гораздо несомненнее, чем общество) есть живой ор-

ганизм, но из этого еще не следует, будто садовник, задумавший сорвать с него вкусные плоды, обязан сидеть сложа руки и смотреть на то, как оно растет. Конечно, на яблоне никакой садовник не вырастит персиков или груш, но и для получения вкусных яблок с нее от него потребуются немалые обдуманые воздействия. К тому же и организм организму рознь. Ребенок ведь тоже организм и тоже растет; тем не менее искусный и опытный педагог непременно окажет на его рост более благодетельное воздействие, чем первый встречный ефрейтор или безграмотный дядька доброго старого времени. Этого не отрицает и Герберт Спенсер, иначе он не стал бы писать своего известного трактата о педагогике. Мы не вправе сказать, будто Герберт Спенсер за глаза отрицает возможность педагогического воздействия на *дэмы* людей; мы, напротив, думаем, что он глубоко убежден в благотворном воспитательном значении хотя бы своих собственных «Основных начал», но мы только полагаем, что, прежде чем определять возможность и характер сознательного воздействия людей на общественный организм, необходимо несколько основательнее уяснить себе и другим, какого именно вида организм изображают собою человеческие общества или хоть *дэмы* вообще.

К этой существенной части задачи английский автор приступает во введении к своей «Социологии», вероятно уже известной в русском переводе нашим читателям. Здесь мы не без изумления замечаем, что Герберт Спенсер, подойдя ближе к своему предмету, хоть и не отрекается вовсе от основного своего положения, будто общество есть организм, тотчас же нейтрализует его, добавляя, что, однако же, этот общественный организм существенно отличается от всех других организмов, известных нам. Во-первых, говорит он, все организмы представляются нам сплоченными (*конкретными*), т.е. ограниченными определенными очертаниями и состоящими из прилежащих друг к другу частей, тогда как общественные организмы рассеяны (*дискретны*), т.е. не имеют определенных внешних очертаний и состоят из частей, более или менее далеко отстоящих друг от друга. Во-вторых, «в животных сознание сосредоточивается в одном чувствилище, т.е. в небольшой части целого, между тем как остальные части вовсе или почти вовсе лишены сознания; в обществе же сознание рассеяно по-

всюду, и все члены общества в равной или почти в равной степени способны наслаждаться и страдать: особое общественное чувствилище не существует нигде».

Ниже мы рассмотрим по существу значение этих спенсеровских ограничений и постараемся уловить соображения, на основании которых знаменитый английский эволюционист считает возможным под словом *общество* понимать только такие ассоциации, которые индивидуализировались до высшей степени дэмов. Теперь же заметим только, что автор напрасно торопился из положения об органичности обществ выводить, будто они, подобно другим организмам, могут только самостоятельно расти, а не преобразовываться сообразно с сознательным воздействием, хотя бы даже и договором. Мы знаем, что остальные организмы способны поддаваться таким воздействиям, хотя и в разных степенях. Если *дэм*, т.е. общество-организм, представляет собою в непрерывной цепи эволюционных явлений нечто до такой степени новое, что с возникновением этих *дэмов* начинается новая и высшая научная ветвь — *социология*, то благоразумие советует нам воздержаться в ожидании дальнейших исследований от всяких априорных заключений на этот счет. В противном случае мы рискуем нагрузить новорожденную социологию таким биологическим балластом, которого она, пожалуй, и не снесет. Если же заключать по аналогиям, то не следует забывать, что все другие организмы тем именно восприимчивее к сознательным воздействиям, чем выше они стоят на лестнице морфологического развития. Не выходя из области *зоидов*, деревья мы можем заставлять давать нам более обильные и более вкусные плоды, диких зверей мы можем укрощать, домашних — дрессировать, детей — воспитывать. Где же ручательство за то, что в высшей области человеческих *дэмов* мы не можем осуществлять тех, более сложных воздействий, лозунгом которых можно пока принять теорию общественного договора?

На древнегреческом языке было написано немало философских трактатов, и язык этот превосходно был приспособлен к выражению очень многих метафизических тонкостей, тем не менее такие разнородные, на наш взгляд, понятия, как *орудие* и *орган*, выражались на этом языке одним общим словом. Для самых утонченных классических мыслителей какой-нибудь заступ или кирка и самая человеческая рука, действовавшая этим заступом, были без различия — *органы*, т.е. орудия. Можно утверждать, что только благодаря научному развитию позднейшего времени наши собственные представления о *механичности* и об *органичности* выяснились со всею надлежащею определенностью и полнотою. Механизмы по внешнему виду могут очень близко приближаться к организмам, точно так же как и живые организмы могут более или менее значительными своими частями сильно походить на механизмы; но между теми и другими, на наш взгляд, непременно должны существовать очень строгие различия. Механизм всегда придумывается человеком ввиду какого-нибудь определенного назначения и не подлежит никакому самостоятельному развитию, но может подлежать улучшениям и изменениям, предел которых заключается не в нем самом, а в степени знания и изобретательности придумывающих его механиков. Организм рождается и преимущественно развивается в известном направлении, которое хотя и может подлежать в некоторой степени нашему сознательному воздействию, но в главнейших своих чертах строго обуславливается свойствами, присущими самому организму. Механизм приводится в движение внешнею, постороннею ему самому силою и состоит из таких же бездеятельных, как и сам он, частей. Организм сам вырабатывает силы, которыми он движется, пока он жив, когда же он умер и самодеятельность его прекратилась, то мы не можем уже восстановить ее никаким искусственным путем. А между тем между механизмом и организмом существует несомненная последовательная связь: организм без всяких метафор и аналогий может быть назван живым механизмом, так как он действительно представляет не что иное, как громадное усложнение законов и начал, действующих

тоже и в механизмах. Между механизмами и организмами существуют в действительности переходные члены, не представляющие типических признаков ни той, ни другой из этих групп. Таковы, например, небесные тела, которых «жизнь» исчерпывается теми же механическими явлениями, которые мы наблюдаем и в механизмах; а между тем тела эти не придуманы сознательно человеком и совершенно не подлежат его сознательному воздействию. Кроме того, тела эти имеют свою эволюцию, приближающую их до некоторой степени к организмам, так как они (хотя бы наша Земля, например) в самом деле переживают известные возрасты: солнечный, планетный, лунный.

Учение Спенсера довольно обстоятельно само выясняет нам взаимные отношения мира механического и мира органического. Кроме того, оно еще позволяет нам, не насилуя создаваемые им рамки, пополнять наши представления о том и о другом всеми теми новыми данными, которые добываются положительной наукою в области космологии, физики, химии и биологических наук. Спенсер как бы предугадал самые плодотворные из естественнонаучных теорий новейшего времени, т.е. учение о единстве сил природы, рассматривающее все явления света, теплоты, электричества и химического средства только как особые роды движения; а также дарвиновское учение о происхождении видов. Это ставит его значительно выше Огюста Конта, тоже предугадавшего это объединительное мировоззрение, но далеко не сумевшего выразить свои догадки с такою стройною научною последовательностью.

Очутившись у преддверья социологической области, составляющей высшую из доступных нам сфер природной жизни, и решив утвердительно предварительный вопрос о возможности изучать и общественные явления так же объективно (т.е. так же научно), как мы изучаем явления двух низших областей, Спенсер, естественно, задается вопросом, в каких отношениях область социологическая состоит к двум низшим и уже философически исследованным им областям, т.е. к области механической и органической. Признаемся, что на его месте мы бы ответили на этот вопрос коротко и ясно: общества — не механизмы, а так же относятся к организмам, как эти последние относятся к механизмам. Говоря другими словами, законы биологические так же неспособны объ-

яснять нам явления общественной, как законы механические (считая в том числе и химические) неспособны объяснять органическую жизнь. Такой ответ имел бы, кажется, то преимущество перед спенсеровским, что он сразу устранял бы возможность недоразумений, порожденных положением, будто общество есть организм.

Должно признаться, что это преимущество не так велико, как могло бы показаться на первый взгляд. Утверждая, что общество не механизм и не организм, мы тем еще не избавляем себя от необходимости расследовать то, что оно имеет общего с механизмами и организмами. А следовательно, в значительной степени мы должны бы были сказать то же, что сказал на эту тему и Герберт Спенсер, но только в несколько иной последовательности, в других словах, т.е. что общества с механизмами имеют сходства очень мало, а с организмами значительно больше.

Признав, что общества не организмы и не механизмы, Спенсер был бы обязан показать те основания, на которых он тем не менее считает общественные явления подлежащими тому же объективному исследованию, которое до сих пор оказалось компетентным вполне только по отношению к механическим и органическим явлениям. Не следует забывать, наконец, что Спенсер не выдумал учение об органичности обществ, так как оно с большею или меньшею основательностью и последовательностью заявлялось еще со времен классической древности. В наше время морфологи и физиологи в области ботаники и зоологии пришли к выводу, что вышеупомянутая нами градация биологических индивидуальностей останется незаконченною, если ее не пополнить новою ступенью — *дэмом*, т.е. коллективностью, состоящею из зоидов, т.е. из очень совершенных биологических единиц, которые в свою очередь состоят из биологических индивидуальностей низшего порядка и т.д., снисходя до клеточек, которые в свою очередь, по новейшим исследованиям, оказываются не строго неделимыми в биологическом смысле, а тоже составленными из сотрудничающих (кооперирующих) между собою простейших морфологических элементов — пластид. Короче говоря, самые положительные научные исследования привели нас к тому заключению, что понятия общества и индивидуальности, с одной стороны, а с другой — понятия социологичности и биологичности

вовсе не противоплагаются одно другому, вовсе не нагромождаются одно над другим в виде резко разграниченных пластов, а тесно сплетаются одно с другим посредством множества тончайших разветвлений и нитей, которые распутать наконец оказывается строго необходимым в видах преуспевания не только социологического, но и чисто биологического знания.

Индивидуалисты, например французские материалисты (Андре Лефевр, Летурно), очень энергически напали на Спенсера и на органическую теорию общественности, но они, однако же, не дали себе труда внимательно проследить те отношения, которые логически должны установиться между спенсеровским учением об условной органичности общественных явлений, с одной стороны, а с другой — между механической и антропологической теорией общественности. Исходя из ошибочного предположения, будто антропологическая точка зрения в социологии неизбежно должна привести к крайнему индивидуализму, они на спенсеровское основное положение смотрят как на такую чепуху, которая даже не заслуживает серьезного разбирательства. Очевидно, что, с их точки зрения, большею чепухой должна представляться еще более крайняя в фаталистическом увлечении *механическая* теория, стремящаяся совершенно выбросить из истории всякий психологический элемент. А между тем Спенсеру приходилось серьезно считаться с этим учением, и, на наш взгляд, немаловажною историческою заслугою его условно органической теории общественности должно признать то, что она безусловно отвергает это более элементарное механическое учение. Надо быть очень высокого мнения о своем философском развитии, для того чтобы считать себя вправе даже не обращать серьезного внимания на такие теории, которыми увлекались еще очень недавно такие умы, как, например, Кетле или отчасти Бокль, которыми многие солидные умы продолжают увлекаться и до настоящего времени. Во всяком случае, такое величавое презрение, как и всякое олимпийство в науке, по самому своему существу способно дать только очень скудные результаты. Так именно и случилось с социологическим учением Спенсера, на которое напали в тех его частях, где оно остается строго верным обязательному во всяком человеческом исследовании антропологическому принципу, а вследствие этого и не выяснили достаточно тех

его сторон, которыми, собственно, оно только и грешит против этого обязательного в социологии антропологического начала. Для научного обоснования антропологической социологии крайне необходимо, чтобы сторонники ее не были поставлены в необходимость открывать такие Америки, которые уже давно открыты их предшественниками. Хаос понятий, господствующий еще на этом поприще, не может быть устранен, пока мы не захотим отдать себе строгий отчет в тех своеобразных исторических условиях, при которых проявляется то или другое мировоззрение в области социологии.

В настоящую минуту отстаивающему антропологический принцип в социологии приходится прежде всего прочно установить принцип законосообразности общественных явлений, который для одних уже успел давно стать общим местом, другими же еще упорно оспаривается, и не только из одних чисто метафизических побуждений. Этот принцип чисто эмпирически установлен уже Кетле и его последователями, а до некоторой степени и французскими позитивистами. Пользуясь в этом специальном случае всеми статистическими трудами знаменитого бельгийского ученого, мы, однако, обязаны заявить о своей несолидарности с его учением с той поры, когда он начинает утверждать, будто законы, управляющие общественными явлениями, все сполна могут подлежать одному только математическому и физическому расследованию. Бокль, пользовавшийся такою громадною популярностью всего каких-нибудь лет двадцать тому назад за свою грандиозную попытку применить к историческому исследованию законы, установленные его предшественниками, не устаивает на скользкой почве механической теории общественности, так как он на каждом шагу прибегает к влияниям биологическим и в то же время показывает нам, что самые космические явления могут проявляться на историческом поприще не иначе, как отразившись физиологически или психологически (т.е., вообще говоря, антропологически) через человеческий организм. Но Бокль тем не менее не устанавливает своей точки зрения сколько-нибудь методически, т.е. стоит одною ногою на почве механической социологии, а другою делает не всегда верные шаги, чтобы утвердиться на почве органической теории общественности. Не подлежит ни малейшему сомнению, что по сравнению с Боклем Спенсер представляет уже

очень значительный шаг вперед. Для нас важно не оправдать Спенсера против несправедливых нападений французских материалистов или иных индивидуалистов, в ряды которых скоро станет и сам Спенсер, для нас важно только перечислить те победы, которыми антропологическая социология обязана самому Герберту Спенсеру, а также эволюционному учению вообще. Победы эти очень ценны, потому что благодаря им принцип законосообразности общественных явлений, а следовательно, и подложности их объективному изучению, можно считать уже окончательно установленным не только эмпирически, но и философски; вместе с тем показана несостоятельность всевозможных «статик и динамик цивилизации», т.е. механической социологии, пытающейся устранить из истории вообще антропологический или хотя бы только психологический элемент. Показано, наконец, что органическая теория общественности, которая у Бокля является как желательный предел, сама может быть признана только условно. Индивидуалисты, обиженные словами «общество есть организм», не хотят даже дослушать спенсеровское положение до конца. И это очень жаль, потому что в конце-то именно и заключаются те ограничения общественной органичности, которыми ясно и определенно устанавливается обязательная для социолога антропологическая или, если хотите, гуманитарная точка зрения, лучше и объективней которой ни предшественники, ни последователи Спенсера ничего еще не придумали до сих пор. Мы уже привели выше два существеннейших из этих ограничений, а именно: «общественные организмы *дискретны* и не имеют определенных внешних очертаний, тогда как биологические организмы *конкретны* и замкнуты в определенных морфологических границах»; «общественные организмы не имеют особого чувствилища, каждый их член обладает способностью наслаждаться и страдать сам за себя».

Против первого ограничения общественной органичности Спенсером было, правда, заявлено возражение бывшим австрийским министром Шеффле в его довольно почтенном трактате «О строении и жизни общественного тела» («*Bau und Leben des Sozialen Körpers*»). С последовательностью, достойной лучшей участи и весьма близко подходящей к педантической бестактности, немецкий автор замечает, что и в биоло-

гических организмах клетки не плотно прилегают друг к другу, а отделяются промежутками, наполненными междуклеточной тканью. По мнению Шеффле, роль этой междуклеточной ткани играют общественные богатства и пути сообщения, служащие связью между клеточками, или пластидами, общественного организма. Мы можем себе представить такое общество (например, английское Географическое общество), которого члены рассеяны по всем частям света. Но они до тех пор являются действительными членами этой ассоциации, пока они действительно помогают один другому в достижении одной общей цели деньгами, провизией, советами и т.п., т.е. пока они состоят в конкретных сношениях между собою. Стоит только одному из членов забраться в какую-нибудь трущобу, не состоящую в сношениях с одним из центров патронирующего его общества, и он тотчас же утратит все выгоды и преимущества, связанные с его положением члена обширной кооперации, хотя за ним и останется чисто фиктивное право ставить после своего имени дорогие английскому сердцу каббалистические буквы F.R.G.S. (Fellow of the Royal Geographical Society)*. Все это отчасти может быть и справедливо, но со спенсеровской точки зрения против этого прежде всего следует возразить, что его положение об условной ограниченности общества строжайшим образом исключает тот аналогический метод, которым так много уже злоупотребляли со времен Менения Агриппы² и до знаменитого гейдельбергского профессора Блюнчли включительно. Насколько общество есть действительный организм, настолько мы и имеем право переносить на него биологические законы, отнюдь не в метафорическом, а в буквальном их значении. Так, например, общества заведомо имеют органическую способность к эволюции, т.е. к преемственной и последовательной изменчивости, а потому мы без всяких обиняков и аллегорий можем утверждать, что общества действительно должны развиваться под опасением того же самого разложения, которым грозит и биологическому организму продолжительный застой. Но в конце концов, как уже замечено, такие отождествления общественного орга-

* Член (букв. докладчик) Королевского географического общества. — Прим. сост.

низма с организмом биологическим охватывают только очень немногие из сторон общественной жизни, а потому и такие перенесения законов биологических на социологические сферы возможны только в тех же тесных пределах, в каких сама биология может пользоваться механическими законами. Главным же образом из положения о *дискретности* общественных организмов вытекает не только возможность для отдельного лица быть членом такого общества, которого средоточие находится от него на расстоянии каких-нибудь десяти тысяч верст. Из него следует также, что одно и то же лицо может одновременно состоять деятельным сотрудником разных обществ и исполнять в каждом из них роль какого-нибудь специального органа. Так, например, почтенный мистер Маркхам может одновременно состоять секретарем уже помянутого английского Географического общества, членом парламента, гражданином той обширной социологической единицы, которую мы называем английскою нациею, и т.д. Он может даже, если ему вздумается, отказаться от всех этих функций и стать, например, подданным бухарского эмира и ассессором азиатского общества в Лондоне или т.п. Очень вероятно, что м-р Маркхам никогда не вздумает воспользоваться всеми этими возможностями, но они тем не менее вытекают очень логически из основного положения о дискретности общественных организмов. А потому социологическому знанию поневоле приходится считаться с такими возможностями, против которых немецкий исправитель и допознатель Герберта Спенсера и ни один из вышепомянутых его индивидуалистических противников решительно ничего не возразил.

VII

Гораздо важнее второе из приводимых Спенсером ограничений общественной органичности, против которого, насколько нам известно, никаких основательных возражений не было предъявлено ниоткуда еще и до сих пор. Нельзя же считать за основательное возражение то беглое замечание, которое приводится Эспинасом во вступлении к его даровитому исследованию «общественности у животных» («*Les Sociétés animales*»). Этот моло-

дой французский ученый, ссылаясь на психологические работы Льюиса, утверждает, что и в высших биологических организмах чувствительность не так уж исключительно сосредоточивается в особых центрах, а что она в некоторой степени разлита по целому телу. Мы согласны признать за исследованиями Льюиса даже большее научное значение, чем то, которое придается им цеховыми учеными. Но легко убедиться, что эти его исследования ни на волос не опровергают второго ограничения Спенсера ни в его общем социологическом значении, ни в его специально этическом значении, которое в настоящем очерке интересует нас всего больше. Мы не имеем притязания двигать вперед общественную науку нашими беглыми заметками, но мы чувствуем себя обязанными уяснить по мере сил нашим читателям те отношения, в которых новейшие успехи обществознания состоят к тому «антропологическому принципу в философии», который мы храним свято как лучшее наследие нашего умственного оживления 60-х годов. Когда мы убедимся, что объективная, т.е. научная, социология непримирима с этим дорогим нам принципом, то мы и отвернемся от всякой научной объективности и побегим искать себе духовного объединения и исцеления в какой-нибудь сектантский скит. До сих пор мы видели, что эта непримиримость несколько еще не доказана, что действительные успехи объективной социологии, напротив, только содействуют научному обоснованию этого самого принципа, который уже и в субъективном, т.е. партионном, или несколько сектантском своем развитии успел уже бесповоротно привлечь нас в свой стан. Потому-то мы и считаем своею и других ближайшею нравственною обязанностью содействовать тому научному обоснованию этого благотворного принципа, при котором он неизбежно должен будет привлечь под свои знамена не одних только а ргіогі сочувствующих ему бойцов и поклонников, но и всех без изъятия порядочных людей, способных убеждаться научными доводами. При самом всестороннем и полном своем развитии наука никогда не будет способна всецело поглотить собою духовное существо живого человека, на всех своих ступенях она способна быть только мощным орудием к достижению тех или других индивидуальных и общественных целей.

Справедливо или несправедливо положение Льюиса о несколько ограниченном значении психических цент-

ров в биологических организмах, во всяком случае нельзя не заметить, что централизация чувствительности достигает все же очень крайнего предела в высших биологических существах, например в человеческом организме. Притом же централизация эта постоянно и непрерывно усиливается, по мере того как мы от низших организмов поднимаемся все выше и выше по зоологическим ступеням. Биологи уже очень давно, с Гёте и с Бэрром, установили эту постоянно возрастающую централизацию чувствительности — законный плод постоянно возрастающей разнородности отдельных частей организма и разделения между ними физиологического труда — за лучшую мерку прогресса в сфере биологической. Мерку эту нельзя назвать морфологической, потому что она принимает в расчет и физиологическую сторону дела; но мы вправе назвать ее критерием формальным, так как она относится все же к внешней, а не к существенной стороне дела. Представим себе, что какой-нибудь умный дикарь, не имеющий ясного представления о действиях наших усовершенствованных машин и о их назначении, захотел бы определить, в чем именно заключается прогресс в специальной сфере, например кораблестроения. Осмотрев какой-нибудь музей, где собраны суда самых разнообразных систем, когда-либо строившиеся людьми, начиная с первобытной пироги и кончая лучшими броненосцами или скороходными паровыми клиперами нашего времени, он заметил бы, что первобытная пирога вся целиком выдолблена из одного древесного ствола, т.е. совершенно однородна во всех своих частях, тогда как новейший пароход состоит и из дерева, и из стали или железа, из меди, канатов, парусины и т.п., т.е. из множества частей, совершенно разнородных и по внешнему виду и по составу. Он заметил бы, что первобытная пирога и движется и управляется при помощи совершенно тождественных между собою весел, из которых каждое способно играть роль и гребного аппарата, и направляющего весла. В судах же более совершенного устройства аппаратдвигающий все более и более отделяется от аппарата направляющего, причем оба они только благодаря возрастающей своей специализации приобретают все большую и большую способность лучше служить назначению целого судна, которое (назначение) заключается в возможности скоро двигаться и в то же самое время легко поворачиваться в требуемом на-

правлении... Короче говоря, такой дикарь неизбежно установил бы мерку судостроительного прогресса, очень схожую с критерием, установленным Гёте и Бэром для органического совершенствования. Нечего и говорить, что он был бы по-своему совершенно прав, так как прогресс в деле кораблестроения действительно, вообще говоря, не обошелся без вышеупомянутого усложнения двигающего и направляющего аппаратов. Представим же себе теперь, что какой-нибудь корабельный инженер, усвоив себе этот критерий, затеял бы усовершенствовать употребительные теперь типы судов и пароходов, усложняя еще более их составные части, т.е. делая их еще более разнородными и способными каждая в отдельности исполнять еще меньшую часть выпадающего на их долю труда. Очень легко могло бы случиться, что проект такого усовершенствования был бы, безусловно, отвергнут сведущим адмиралтейством, которое заметило бы такому изобретателю, что он увлекается одною формальною стороною дела. Со стороны же существенной усложнение частей представляется желательным только в такой мере, в какой оно окупается соответственным возрастанием быстроты хода судна и его послушностью рулю. Предполагая же, что эти два последние условия остались бы неизменными, прогресс заключался бы не в усложнении, а, напротив, в упрощении движущего и направляющего аппаратов судна так, что вышеупомянутый критерий оказался бы не показателем прогресса, а только верным выражением тех жертв, которыми куплен осуществленный прогресс в данной области. Мы действительно видим, что прогресс в области практической механики идет одновременно по двум диаметрально противоположным направлениям. Он точно заключается в большей разнородности частей и дальнейшей специализации исполняемого каждою частью труда; но он может точно так же заключаться и в обратном, т.е. в таких упрощениях механизма, которыми не уменьшается производительная работа машины. Точнее говоря, совершенство на механическом поприще заключается не в усложнении и не в упрощении самого механизма, а в его соответствии с предположенною целью. Более совершенною признается вполне основательно такая машина, которая позволяет нам достигать желанной цели с наименьшею возможною затратою вещества, времени и труда. Формальный же вопрос о разнородности частей и большей

или меньшей специализации между ними труда совершенно подчиняется этому главному положению. Так как машины всегда придумываются людьми в виду определенных целей, то и руководство таким критерием в области механики не представляет решительно никаких теоретических или практических затруднений. Цель, достигаемая тою или другою машиною, определяется, конечно, человеческим произволом, но относительные достоинства двух или нескольких машин оцениваются вполне объективно, чаще всего простым сличением цифр, выражающих производительную работу и издержки производства, сопряженные с тем или другим механизмом.

Пока биологи рассматривали изучаемые ими растительные и животные организмы приблизительно так же, как наш предполагаемый умный дикарь обозревал кораблестроительный музей, т.е. не помышляя ни о каком их соотношении с общею мировую жизнью, то вышеупомянутый критерий Бэра удовлетворял их вполне; да у них и не было возможности заменить его каким-нибудь другим. Всякая цель, которую мы бы навязали живым существам, рассматриваемым с этой изолирующей точки зрения, была бы совершенно субъективным порождением, с которым нет возможности считаться точному научному знанию. Но коль скоро новейшая биология была перестроена сообразно внесенному в нее Дарвином принципу, то и этот бэровский критерий развития отодвинулся сам собою на задний план, без борьбы уступая место более широкому мерилу органического развития.

Как бы то ни было, но дарвиновское представление об эволюции дает нам возможность и на биологическом поприще подчинить процесс дальнейшей разнородности органических форм и большей специализации труда известному представлению целесообразности, не имеющему в себе ровно ничего субъективного. С точки зрения учения Дарвина существенно только то, чтобы между организмом и средою установилось тем ли, другим ли путем необходимое соответствие. Таким образом, формальный вопрос о разнородности частей, о специализации труда и о подчинении частей целому отходит на такой же задний план, как и в сфере практической механики. Но мы имеем возможность отнестись к биологической эволюции еще с более философской точки зрения,

чем та, с которой смотрел на нее Дарвин, остававшийся главнейшим образом естествоиспытателем, а потому и дороживший некоторыми подробностями, не имеющими общенаучного или философского значения. Мы можем окинуть биологическую эволюцию тем общим взглядом, от которого пестрящие картину бесчисленные подробности скрываются, и тогда обнаружится, что эволюция эта порождает не только бесконечное многообразие животных и растительных форм, но что она же создает и известную градацию ступеней жизни. Мы встречаем на низших ступенях органического мира такие бытия, которые сполна исчерпываются двумя физиологическими функциями — питания и размножения. На следующих ступенях к этим двум отправлениям примешивается уже психическая деятельность, начинающаяся с самых элементарных форм ощущения и постепенно усложняющаяся до формы самых сложных чувств, приводя нас в свою очередь к третьей, высшей ступени, имеющей свою исходную точкою мысль, затем знание и, наконец, способность сознательно действовать ради целей, биологически ненужных для самого действующего лица, как, например, для идеи, для блага другой особи или коллективности. Существование этой градации такой же конкретный факт, как и существование какого угодно вида растений и животных. Градация эта выражает собою то, что может по праву быть названо «объективным прогрессом», потому что прогрессивность такой градации совершенно независима от нашей произвольной оценки этого явления. Каждый последующий член этой прогрессии заключает в себе неизбежно предыдущий ее член плюс нечто новое, чего на предыдущей ступени быть не могло.

Мы видим, следовательно, что монистическое мировоззрение, в которое укладываются целиком учения эволюционистов и дарвинистов в той мере, в какой они являются плодом действительно научного, объективного метода, дает нам критерий прогресса, независимый от субъективных воззрений. Другое дело вопрос о желательности такого прогресса. С антропологической точки зрения он не может, конечно, быть нежелательным, потому что им одним только и обуславливается сперва возможность, а потом богатство внутреннего содержания человеческого существования на Земле. Но с субъективной точки зрения какого-нибудь буддизма, в ожидании

блаженной нирваны предпочитающего такое бытие, которое всего меньше отличается от небытия, прогресс этот столь же несомненно должен считаться нежелательным, потому что он-то именно постепенно и последовательно удаляет нас каждым новым своим шагом сперва от хаотического, нечленораздельного бытия туманных пятен, потом от тесно индивидуалистического бытия монер³ или амеб, еще дальше — от дряблой расплывчатости тел допотопных форм, в которых, например, усматривают какие-то «высшие типы» развития на том основании, что они будто бы не специализировались, не стали ни ящерицею, ни рыбою (ихтиозавр), ни птицею, ни земноводным (птеродактиль), а способны по своему благоусмотрению быть понемножку то тем, то другим. Но какое нам дело до того, в каких формах будут они влачить свое жалкое существование, коль скоро их бытие будет исчерпываться сполна процессами питания и размножения, за отправлением которых у них уже еле-еле хватает жизненной энергии на развитие в себе самих рудиментарных психических способностей...

VIII

Отступление это казалось нам крайне необходимым для того, чтобы читатель мог оценить по заслугам значение того возражения, которое сделал английский сравнительный анатом Гексли (Huxley) против спенсеровской теории условной органичности общественных явлений.

Почтенный этот ученый начинает с прямого заявления, что, по его мнению, уподобление общества организмам может быть хорошо для аналога à la Менений Агриппа, но что в науке оно совсем неуместно, как всякая аналогия; так как уже давно было замечено, что сравнение не довод («comparaison n'est pas raison»). Мы уже заметили выше, что с этим его положением можно очень легко согласиться, если только не придавать значения тем «обстоятельствам времени», среди которых возникла эта новая редакция старой как мир теории, гласящей, что общество есть организм. Однако, останавливаясь на том решении, что общество не есть ни механизм, ни организм, надо бы было показать тотчас же, каким образом самая совершенная зоологическая инди-

видуальность довлеет себе только в узком деле питания. Чуть же дело коснется хотя бы только чисто физиологической функции размножения, то сама органическая необходимость ведет уже роковым образом к возникновению новой и иного порядка единицы — брачной пары, без которой могут обходиться только индивидуальности очень низменного порядка, допускающие самооплодотворяющий гермафродитизм...

Гексли, однако, этого ничего не показывает, а рассуждает так, как будто Спенсер не предупреждал его, что он не считает общественный организм вполне тождественным с организмом биологическим, и как будто он с азбучною ясностью не указал, в чем именно кроется здесь существенное роковое различие. Напоминая автору «Основных начал», что в сфере зоологической богатство психологических функций является результатом крайней специализации труда, а совершенствование организации покупается ценою рабского подчинения частей целому, почтенный анатом ставит Спенсеру в упрек как вопиющее будто бы противоречие с его основным положением ту теорию общественной самодеятельности и правительственного невмешательства, которую Спенсер действительно заимствовал почти целиком у блаженной памяти манчестерских фритредеров, только переложив ее на новую, учено-философскую подкладку.

Выше мы уже имели случай показать, что Спенсер точно не всегда умеет оставаться верным и последовательным им же самим провозглашенному началу. Так, например, мы уже видели, что он свою теорию общества-организма считает победоносным возражением «революционным метафизикам». Должно ли повторять, что такие рассуждения несостоятельны даже там, где речь идет о безусловных (т.е. биологических) организмах, которые и во «всякое» время несомненно подлежат сознательному воспитательному воздействию, в которых и в «свое» время решительно ничего не делается само собою, как не режутся зубы у ребенка без лихорадочного возбуждения и потрясения целого организма, без мучительного раздражения и зуда непосредственно заинтересованных органов и тканей. Но мнимое возражение Гексли касается вовсе не этой действительной непоследовательности нашего героя. Гексли просто не может понять, что «органист» Спенсер допускает возможность общественного развития.

После всего сказанного легко, кажется, заметить, что непоследовательности в этом нет никакой и что промахом со стороны Спенсера было бы принять выводы, предлагаемые ему противником. В самом деле, процесс, который мы только что показали, состоит в последовательном переходе от жизни животной к жизни психической, ощущающей, чувствующей, познающей, сознательно действующей в направлении, не обусловленном индивидуальным приспособлением целей, и совершается сполна (или почти сполна, за изъятием, быть может, очень немногих безусловно высших своих ступеней) в той области, которая изучается биологиею и психологиею, где, следовательно, социологическая область еще не началась. Из этого, кажется, уже прямо следует, что прогресс социологический должен заключаться в чем-нибудь другом, не противоречащем первому, но существенно отличном от него. Да Спенсер, наконец, и прямо говорит, что общественное развитие не может иметь целей, независимых от благоденствия, физического и духовного, своих членов. А следовательно, и критерий общественного прогресса есть степень обеспечиваемого им антропологического благоденствия объединяемых в данном обществе людей параллельно со степенью равномерности распределения этого благоденствия между членами. Все это, может быть, очень неново, но едва ли позволительно было и ожидать чего-нибудь существенно нового от школы, которая ведь в собственно социологическую область еще и не вошла, а только копошится у преддверья социологии. Нового во всем этом, и может быть, только то, что «школа борьбы», насколько она держится в научных пределах и не касается заведомо не подлежащих ее разрешению задач, вовсе не доказывает призрачности гуманитарных стремлений, а, напротив, содействует их объективному обоснованию на строгой научной почве. Несомненно то только, что все, сказанное выше, вытекает логически последовательно и само собою из основного положения Спенсера об условной органичности общества. Признать же безусловную его органичность нас никто и не приглашал, и два вышеприведенные спенсеровские ограничения (он приводит их четыре) остаются во всей своей силе, несмотря на все поправки и возражения Шеффле, Гексли и пр.

В мире биологическом — мире крайнего индивидуализма — всякая особь знает только одну узколичную и

свокорыстную цель: удовлетворение неутомимой потребности в требуемую минуту. Ради этой цели она вступает с другими и с окружающей средой в ту неустанную борьбу, которую Дарвин для краткости назвал борьбой за существование. С психологической точки зрения борющихся ее, быть может, правильнее было бы назвать борьбой за удовлетворение потребностей. Для естествоиспытателей, давно уже выработавших себе привычку интересоваться вещами больше, чем словами, номенклатура не имеет существенного значения; но социологи нередко выходят из той среды, где номиналистические привычки берут еще значительный интерес над привычками реалистическими... Выше мы уже видели, что эту борьбу (понимаемую, конечно, в широком ее значении) обеспечивается не только бесконечное разнообразие органических форм, но обеспечивается также и тот биологический прогресс, который выражается последовательным переходом от жизни питания и размножения к жизни ощущений и чувств, мыслей и знания, наконец, к нравственной жизни действий, имеющих сознательную целью не свое только единичное приспособление. Во всей неисчислимой рати борющихся за существование особей встречаются, конечно, и такие существа, которые стоят на этой высшей ступени развития; но они являются в ней в роли такого микроскопического меньшинства, которое совершенно закономерно может и вовсе не приниматься в расчет биологами. Они ведь выражают собою предел, дальше которого биологической эволюции уже некуда идти; а философский интерес биологии заключается именно в уяснении тех путей, которыми эволюция эта дошла до указанного предела. Все остальные низшие ступени сознательности в борьбе за существование играют уже значительно важнейшую роль, и индивидуалистическое приспособление биологических борцов к среде предполагает порою громадный наследственный капитал веками накопившегося сознания. Однако и в тех случаях, где мы имеем право говорить о сознательной биологической борьбе, сознательностью освещаются только цели борьбы с точки зрения единичного индивидуалистического приспособления. В значительном большинстве случаев животное очень мало заботится даже о своем личном существовании и ест вовсе не для того, чтобы поддержать его, а

только чтобы утолить мучительное ощущение голода. Еще менее ему может быть дела до сохранения вида.

Вернемся же теперь к определению общественного организма, по Спенсеру. Общество, говорит он, есть такой организм, которого части не сплочены между собою и который не может иметь другой цели, как благосостояние этих частей, из которых каждая способна наслаждаться и страдать за себя. Прибавим, что, по его же определению, социология (как и по определению О. Конта) должна преимущественно иметь в виду общества человеческие, т.е. состоящие из частей, выражающих собою высшие ступени психологического и физиологического развития; тогда мы увидим ясно, что для общества объективный прогресс может заключаться в благосостоянии частей.

IX

Судите же сами, читатель, было ли основание перебивать Спенсера на слове «общество есть организм»... чтобы провозгласить биологический закон борьбы краеугольным камнем научной социологии (как поступают слишком многие скоропеченные социологи во Франции и в Германии). Мы же предупреждали уже в первой части этого исследования, что вопрос об органичности общества для нас даже не есть, собственно говоря, вопрос, т.е. что мы не придаем ему большого теоретического или этического значения. Никто не может серьезно вообразить себе, что общество в самом деле такой же точно организм, как рак, корова или человек. Признав же органическую теорию общественности в том виде и с теми ограничениями, как ее выразил Герберт Спенсер, мы не проигрываем ничего, хотя выигрываем, по правде говоря, очень мало. Мы убеждаемся, однако, что объективная социология не имеет в себе ничего способного наперед, огулом осудить наши гуманитарные мечты и стремления.

Сам Спенсер не делает из своего основного положения тех логических выводов, которые мы выше привели, но приходит к некоторым таким заключениям, которых несостоятельность, с его же собственной точки зрения, указана была выше. Так именно, он полагает, будто положение об органичности общества, хотя бы и ограни-

ченное, включает в себе самом безапелляционное осуждение сознательных воздействий на судьбы общества. Но мы знаем, что мало-мальски порядочный садовник или опытный скотовод оказывают и на действительные биологические организмы воздействие очень основательное благодаря именно его сознательности. Они понимают, что во «всякое» время с дикой груши сочного плода сорвать нельзя, но что «свое» время, когда этот требуемый плод явится сам собою, не придет никогда, если его будут ждать сложа руки. Остается, следовательно, вопрос о пределах и методах сознательного воздействия. Научная социология, конечно, должна будет объективно разрешить этот важный вопрос, о котором невозможно с успехом рассуждать, стоя у порога научной социологии.

Спенсеровское положение можно вывернуть наизнанку, как перчатку, и утверждать, что не общество есть организм, а, наоборот, организм есть общество. Биологи в самом деле давно уже заметили, что, коль скоро мы оставим первобытный мир растительных и животных клеточек, понятия об индивидуальности и коллективности так основательно перепутываются между собою, что их и вовсе распутать нельзя, не установив различных категорий индивидуальности и коллективности. В этом отношении они значительно забежали вперед социологической задачи, настолько, разумеется, насколько это оказалось необходимым в видах разрешения собственных своих задач; но задачу их все же так осталось уяснить, каким образом путем биологической борьбы, имеющей точкою опоры индивидуалистический эгоизм, вырабатывается бесконечное многообразие органических форм и их постепенное совершенствование, т.е. два явления, вовсе нежелательные и ненужные с точки зрения самих борющихся организмов. Такое заскакивание биологов в социологические построения, и наоборот, служит блистательным доказательством, что области биологии и социологии не разграничены никакою легко уловимую чертою, т.е. что граница их лежит не в конкретном предмете, а в приемах нашего научного подхода к нему. Мы говорим о биологии и социологии точно на таком же основании, на каком мы разделяем, например, планиметрию от стереометрии. Мы знаем, что в природе не существуют такие тела, которые представляли бы только поверхности и не име-

ли бы вовсе объемов. Но мы знаем также, что к изучению объемов было бы очень нерасчетливо приступать, не запасшись предварительно должными планиметрическими сведениями. Также напрасно стали бы мы искать в животном или в человеческом мире такого конкретного явления, которое сполна исчерпывалось бы исключительно социологической или исключительно биологической стороною. Клеточка долго считалась, правда, за безусловный индивид, но при ближайшем знакомстве, однако же, и она оказалась обществом еще более элементарных пластид; а если б и не оказалась, то ведь все равно никакая биология не могла бы ограничить свой кругозор изучением одних только клеточек.

Начиная с самого О. Конта, который первый пустил в обиход мудреное слово «социология», о границах этой *scienza nuova* нашего времени уже очень было много говорено, но, к сожалению, не всегда с надлежащей точки зрения. Конт, как мы уже видели, считая общество за «самый живой из всех организмов», но строго отличая его от организмов биологических, давая в то же время опорю общественным явлениям особый альтруистический инстинкт, проявляющийся, несомненно, и у животных, хотел сделать тем не менее социологию чисто антропологической наукою. Не помню, на какой именно из страниц своей «Положительной политики» он с обычною своею догматичностью утверждал, будто явление жизни общественной в ряду органических явлений становится возможным только тогда, когда полы уже разделены; но для того чтобы это явление расцвело в полном своем цвете и достигло своей, так сказать, средней типичности, он считал необходимым появление членораздельной речи. С его точки зрения, было вполне последовательно предоставить биологам безраздельно весь зоологический мир и сосредоточить все внимание социологов своего толка на общественности человеческой. Для нас в этом его воззрении важно только то, что творец французского позитивизма искал, очевидно, грани между биологиею и социологиею в конкретных явлениях. Спенсер несколько уступчивее его в своем отношении к явлениям общественности у животных. Он не против того, чтобы социолог его направления захватил при удобном случае и зоологический цикл; но тем не менее и он под словом «общество» намерен понимать одни только постоянные ассоциации индивидуальностей высшего

порядка, т.е. зондов. Т.е. и он точно так же ищет предметного разделения между областями двух интересующих нас здесь собою наук, промеж которых он довольно неудачно, на наш взгляд, втискивает животную и антропологическую психологию. Фактически же он точно так же начинает свою собственную социологию с первобытных ступеней семейной эволюции в человеческом мире. Почтенный автор, по-видимому, совершенно не замечает, что этим довольно существенно нарушается, так сказать, органическая стройность его учения.

Х

Установив свое основное положение, что общество есть организм, почтенный автор, очевидно, считает, что он победоносно покончил с философскою стороною дела. Вопрос о том, что же составляет сущность общественных уз, разрабатывается им так поверхностно, что мы и не считаем нужным излагать далее его воззрения. Собственно говоря, Спенсер не имеет своего воззрения на этот счет, а только повторяет давно уже всем приевшиеся общие места, сводящиеся к тому, что обществом следует считать не всякое сборище людей, а только такую их группировку, в которой дорогое его манчестерскому сердцу разделение труда является хотя бы в зачаточной степени.

Мы вовсе не питаем суеверного страха к самому принципу разделения труда, хотя фетишистское преклонение перед ним социологов школы борьбы естественно наводит на нас некоторую острastку. Возможно ведь различное разделение труда, из которых одно не способно возбудить и самого утонченного чувства справедливости, тогда как другое решительно невозможно примирить никакою диалектикою с тем благосостоянием частей, которое сам же Спенсер считает за единственно возможное назначение общественных организмов. Существует, например, такое разделение труда, по которому полковник Пржевальский изъездил всю Монголию, а Стэнли, содействуя по мере своих сил успехам того же географического знания, странствовал по внутренней Африке и искал там Ливингстона. Мы решительно не видим никаких соображений, по которым следовало бы желать, чтобы полковник Пржевальский, попутешест-

вовав немного по Монголии, являлся бы во внутреннюю Африку на смену Стэнли, который в свою очередь, не отыскав еще Ливингстона, отправлялся бы на смену нашему знаменитому путешественнику на Лобнор. Принцип разделения труда в биологии играет очень видную и достаточно уже определенную роль, но на каких правах и зачем он с первых же шагов преподносится нам в социологии именно в качестве характеристики тех общественных организмов, которых строй и назначение столь существенно разнятся от строя и цели организмов биологических? Одно это голое сопоставление принципа условной органичности обществ с принципом разделения труда, не связанное никаким внутренним единством, служит в наших глазах достаточным ручательством за то, что у указанного здесь предела в теоретической социологии начинается такой хаос, в котором даже и разобраться было бы очень мудро на остающихся нам здесь немногих страницах. Само собою разумеется, что, находясь в таком хаотическом состоянии, сама эта теоретическая социология не может нам помочь сгруппировать в каком-нибудь методическом порядке тот громадный материал, который уже накапливается из года в год по всевозможным отраслям исторического и этнографического знания. Можно иметь в запасе очень много кирпичей и все же не выстроить из них дома, если нет в голове ясного представления о плане будущего здания. Об этом-то плане современные социологи борьбы очень упорно не хотят думать, предполагая довольно неосновательно, будто дарвинизм избавляет их сполна от этого труда. В действительности же дарвинизм именно с этой точки зрения и не дает нам решительно ничего, а при легкомысленном с ним обращении может только усугубить путаницу.

Уже Жоффруа Сент-Илер замечал, что многие из животных обществ иначе не могут быть объяснены, как симпатиею. Не придется ли признать в конце концов, что закон общественности, или кооперации, такой же мировой закон, как и пресловутая борьба за существование, но что он только бесплодно ожидает своего Дарвина и до сих пор?

В самом начале биологической эволюции мы встречаем факт коллективирования единичных клеток, на который мы уже ссылались здесь много раз, но который до настоящей минуты остается все же неразъясненным

с точки зрения борьбы за существование. Эспинас высказывал, правда, предположение, будто, увеличиваясь в объеме через агломерацию в форме малинной ягоды, клеточки эти избавляются от возможности быть пожранными; а это, говорит он, составляет громадное преимущество в мире инфузорий, где прожорливость так велика. Но какую же прозорливостью должны мы совершенно голословно наделить эти одноклеточные организмы, чтобы удовлетвориться таким утилитарным объяснением этого факта, который рисуется нам общею исходною точкою как биологической, так и социологической эволюции, т.е. как эволюции борьбы за существование, так и эволюции кооперативного труда!

Наш очерк имел единственную целью показать читателю, что социологическая школа борьбы за существование, приютившись паразитом на научной дарвинской биологии, совершенно напрасно смущает нас своими скороспелыми, но строгими приговорами над лучшими стремлениями гуманизма. Она слишком бедна и объективными знаниями, и методическим объяснением для того, чтобы ее приговоры могли иметь должный научный вес. Прежде чем сплеча решать социальные вопросы, касающиеся нашего или чужого общественного быта, ей предстоит еще сойти с этой выгодной, но не почетной позиции, отбросить свои предвзятые мысли и терпеливо приняться за самостоятельное исследование всех явлений сотрудничества в природе, начиная с тех зачаточных (в социологическом смысле) питательных ассоциаций, где сотрудники механически связаны между собою перепонками или полостями, проходя по тем переходным формам, где роль этих перепонек играет излюбленный ими принцип разделения труда, и восходя последовательно к тем высшим ступеням, где consensus (соглашение), добываемый более психическими путями, делает излишними всякие перепонки и всякие, а тем более несправедливые, разделения труда.